

**А. В. Луценко**

**РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ  
В РОССИИ XVIII – XIX ВВ**

**УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ**

**Северск**

**УДК 321.01 (075.8)**  
**Л – 869**

**Рецензенты**

Жеравина А.Н. - доктор исторических наук, профессор  
Томского государственного университета.

Нам Е.В. - кандидат исторических наук, преподаватель  
кафедры организации деятельности медицинской службы и  
социальной работы Томского филиала Академии права и управления  
ФСИН РФ.

Рекомендовано Сибирским региональным учебно-  
методическим центром высшего профессионального образования  
для межвузовского использования в качестве учебного пособия для  
студентов всех специальностей технических вузов

Луценко А.В.

Л – 869 Развитие политической мысли в России XVIII – XIX вв.  
Учебное пособие – 2-е изд. – Северск: Издательство СТИ НИЯУ  
«МИФИ», 2010. – 142 с.

В пособии рассматривается эволюция практической  
политической мысли в России начиная с времен Петра I и  
заканчивая последними десятилетиями XIX столетия;  
анализируются предпосылки и итоги «европеизации» России,  
оценивается роль крестьянской общины и дворянского сословия в  
развитии страны, характеризуется степень участия политической  
элиты Российской империи в легальном распространении марксизма.  
Книга написана с использованием большого объема оригинальных  
источников, позволяющих не только оценить, но и наглядно  
представить процесс складывания особой политической культуры  
России.

Предназначена для преподавателей и студентов технических  
вузов для подготовки по дисциплине «Политология».

Печатается по постановлению Редакционно-издательского  
совета СТИ НИЯУ «МИФИ».

© Издательство СТИ НИЯУ «МИФИ»

Все права защищены. Воспроизведение всей книги или любой  
её части запрещается без письменного разрешения издательства СТИ  
НИЯУ МИФИ.

Северский технологический институт НИЯУ «МИФИ», 2010

## Содержание

|                                                                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Предисловие.....                                                                                                 | 5   |
| Общая характеристика русской политической истории.....                                                           | 8   |
| Царь-реформатор и оценка его достижений потомками.....                                                           | 12  |
| Результаты европейской средневековой изоляции.....                                                               | 13  |
| Представления Европы и России друг о друге.....                                                                  | 15  |
| Стимулы для великих перемен в петровской России.....                                                             | 16  |
| Реформирование России началось с военного дела.....                                                              | 18  |
| Препятствия к реформированию армии.....                                                                          | 19  |
| Введение в России рекрутской повинности.....                                                                     | 20  |
| Организационные преимущества «тяглой» русской общины<br>перед самоуправляющимися общинами европейского типа..... | 21  |
| Безуспешные попытки Петра увеличить казну<br>монополизацией торговли.....                                        | 24  |
| План разверстки платежей на податное население.<br>Результаты опоры на «цыфири».....                             | 25  |
| Неумение преемников Петра воспользоваться<br>результатами его реформ и побед.....                                | 26  |
| Причины наметившегося при Петре раскола в «верхнем мире»<br>России.....                                          | 27  |
| Использование оппозицией трагических отношений Петра с сыном,<br>царевичем Алексеем.....                         | 29  |
| Последствия вражды в семье монарха.....                                                                          | 31  |
| Упразднение «тайной канцелярии» и закрепление<br>привилегированного положения помещиков в России.....            | 32  |
| Новый облик России.....                                                                                          | 35  |
| Благородное дворянское ничегонеделание.....                                                                      | 41  |
| Рабство на Руси и его жертвы.....                                                                                | 43  |
| Иллюзия равенства с Западом и принесение национальных интересов<br>в жертву «монархическому интернационалу»..... | 48  |
| Военные поселения – «осолдачивание» крестьян.....                                                                | 52  |
| Начало «вольнодумства».....                                                                                      | 54  |
| Влияние «теневого кабинета» на решения монархов.....                                                             | 55  |
| Декабристы и «культ пяти повешенных».....                                                                        | 58  |
| Западники и славянофилы. «Отсутствие всякого<br>государственного смысла в обществе».....                         | 64  |
| Подготовка реформы 1861 года.....                                                                                | 74  |
| Результаты реформы.....                                                                                          | 77  |
| Формирование «огромного клуба всероссийской оппозиции».....                                                      | 83  |
| Перемены в настроениях столичной элиты и начало репрессий<br>против экстремистов-«бомбистов».....                | 89  |
| Легальное появление марксизма в России.....                                                                      | 95  |
| «Священная дружина» и ее крах.....                                                                               | 98  |
| Роль влиятельных царедворцев и «царской фамилии»<br>в оппозиционном движении.....                                | 101 |

|                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Община – «форма необычайно стойкая».....                                                | 107 |
| Маркс трижды убеждал русских: теория «Капитала» –<br>не для России.....                 | 113 |
| Кто скрыл особую позицию Маркса о перспективах России?.....                             | 116 |
| Маркс о земельных общинах.....                                                          | 119 |
| Поучительная судьба древнеримских плебеев.....                                          | 124 |
| Капитализация России – путь к регрессу?.....                                            | 126 |
| Грабительская политика государства по отношению<br>к крестьянской общине.....           | 129 |
| России требовалась революция менеджмента, а не революция<br>передела собственности..... | 134 |
| Искажение взглядов Маркса на судьбу России продолжается.....                            | 135 |
| Вопросы для самоконтроля.....                                                           | 137 |
| Литература.....                                                                         | 138 |

## Предисловие

Вопрос о том, на какие силы и идеи следует опираться России в своем политическом, экономическом и культурном развитии, волновал авангард общества во все времена и приобретал особое звучание в те периоды, когда власть в очередной раз намеревалась повести державу к реформированию общества ради создания процветающего и динамичного государства, управляемого по законам цивилизованного мира. Особый интерес автора учебника к развитию политической мысли в России XVIII – XIX веков, начиная со времен Петра I, продиктован не только желанием разобраться в хороводе мировоззренческих идей, принимаемых в стране на веру и толкавших правящие круги на преобразования, но и понять, почему европейские теории плохо приживались на российской почве.

А.В. Луценко показал с помощью объективно подобранных исторических документов, как идеологическая оторванность политиков от интересов самой значительной по величине категории жителей России приводила к увеличению пропасти отчуждения двух «народов» в одном – сообщества дворян, немногочисленной элиты, и «подлого племени», огромного в массе своей остального населения, нищего, безграмотного, рабски несвободного, поставленного жестоким произволом «благородных господ» в бесправное положение. Их цивилизационное развитие а ля Европа, насаждаемое в России восточно-деспотическими методами, шло столь несхожими путями, что абсолютное размежевание не могло не оказаться неизбежным и губительным для общества в целом.

Автор учебника не ставит своей целью дать полный анализ известных реформ, проводимых в России «сверху», но книга А.В. Луценко наполнена описаниями тех «теневых» событий, которые, оставаясь обычно в истории «за кадром», выполняли роль определяющих факторов, кардинально менявших намеченные преобразования. Автор книги приводит документальные свидетельства о том, как временные меры, вводимые монархической властью по необходимости, спустя короткое время усилиями «авангардии» общества приобретали статус извращенной, далекой от задуманного проекта нормы, которая подчиняла себе весь строй жизни страны, усугубляя раз от раза нараставшую в обществе конфронтацию. Например, Петр I, нуждаясь в слажено работающей управленческой структуре, вознамерился построить ее на принципах армейской соподчиненности и разграничил внутригосударственные

обязанности помещиков и крестьян. За крестьянами сохранялось положение податного сословия, а дворянам предписывалось беспрекословное подчинение царской воле и отводилась роль командиров над крестьянами. В связи с этим в переписных «ревизских сказках» за каждым помещиком временно закреплялась территория его ответственности с целью поддержания на надлежащем уровне хозяйственной состоятельности всего податного населения. В подчинение командира-помещика попадали не только его холопы, но и рядом живущие свободные крестьяне. Вместо задуманной управленческой структуры в России осуществилось стопроцентное закрепощение крестьян, которые со времен Петра I вплоть до отмены крепостного права стали собственностью помещичьего сословия.

А.В. Луценко утверждает, что в истории государства Российского такие метаморфозы случались не единожды. Так, тайная «Священная дружина», созданная с ведома Александра III как противовес террористическим организациям, на самом деле породила полицейско-диктаторский режим в России, а разрешенный правительством для распространения в стране марксизм, прежде чем стать главным революционным учением пролетарского движения, был на «ура» принят не только социал-демократической, народнической, эсеровской и кадетской интеллигенцией, оппозиционной к самодержавному режиму, но даже нашел интерес и признание в правящих кругах. Поклонение марксизму в России стало всеохватывающим, хотя сам Карл Маркс категорически отрицал полезность применения теоретических положений «Капитала» к российским условиям. Однако Маркс не был услышан, и в итоге некритическое усвоение западных мировоззренческих ценностей политически активной частью русского общества привело к тому, что во второй половине XIX столетия сформировалось отчетливое противостояние между индивидуалистической идеологией правящей элиты и общинным коллективизмом большинства населения страны. На рубеже XIX и XX веков данное противоречие дополнительно обострилось в результате противоречивой внутренней политики самодержавия, и столкновение двух «народов» стало исторически неизбежным. Тот исторический факт, что и сама политическая элита России к началу XX в. уже давно не была единой – к традиционному противостоянию монархистов-почвенников и либералов-западников прибавился

идеологический разброд в среде самих либералов, которые поделились на конституционалистов, легальных марксистов, сторонников демократической революции, социал-реформистов и т.д., – только усугубил кризисную ситуацию: революция 1917 г. привела к практически полному свертыванию вестернизационной парадигмы российской политической мысли – не в последнюю очередь вследствие физического уничтожения большей части представителей данного направления, принадлежавших к дворянско-буржуазной элите русского общества. Что касается социально-политического развития остального «народа», то автор особо подчеркивает: лишь идеи, родившиеся в сугубо российских условиях и нетрадиционные для западного цивилизованного мира, кардинально влияли на перспективные преобразовательные процессы в державе. Так, введение в армии рекрутской повинности общинного характера не имело аналога в европейской истории, но оно внесло неожиданные коррективы в быт большинства российского населения: последствиями ставки Петра I на «тяглую» общину как главного поставщика податей и рекрутов явились небывалый прирост населения страны и возникновение общей ответственности на базе коллективной организации хозяйственной и социальной жизни большинства проживающих в Российской империи.

Автору учебника удалось создать книгу, которая читается с живым интересом благодаря тщательному подбору иллюстративного материала, интегрированного без искажения смысла приводимых исторических документов. Обращение к архивным данным, ранее не известным, к исследованиям дореволюционных и современных историков, к мемуарной литературе позволило А.В. Луценко нетрадиционно взглянуть на политическое прошлое России, по-новому оценить смысл и взаимосвязь отечественных событий, что дает право считать «Развитие политической мысли в России XVIII - XIX вв.» актуальной и неоспоримо полезной. Книга может быть использована в качестве учебного пособия по истории и политологии – в этом качестве она будет интересна и полезна не только студентам и преподавателям, но и всем, кто интересуется прошлым России и проблемами формирования отечественной политической культуры.

*Жеравина А.Н.  
доктор исторических наук, профессор.*

## **Общая характеристика русской политической истории**

Российская традиция политической мысли сильно отличается как от западной, так и от восточной. Если западное государство, начиная со времен Римской республики (III – IV вв. до н.э.), изначально формировалось как зависимая от общества организация, которая за плату в виде налогов обслуживала жизненные интересы граждан; если восточное государство, начиная со времен Древнего Египта (XXXI в. до н.э.), было создано в качестве универсальной службы жизнеобеспечения, способной в условиях тотального дефицита всех ресурсов эффективно организовать производство и распределение необходимого минимума жизненных благ между максимальным числом подданных, то в России исторически сложилась принципиально иная ситуация.

Прежде всего, начиная со времен Киевской Руси, государство было четко отделено от общества и в то же время безраздельно господствовало над ним: князь и его дружина кочевали по своим владениям, периодически наезжая за данью то к одним, то к другим своим подданным, и во время сбора дани могли делать с ними, что хотели; но большую часть времени князь жил сам по себе, его подданные – сами по себе, и их жизненные интересы практически не пересекались. Эта традиция настолько глубоко вошла в массовое сознание, что еще в начале XX столетия (через тысячу лет после первых киевских князей!) от любого крестьянина можно было услышать примерно такие слова: «Законы – это для господ, а мы и своим мужицким обычаем проживем». Это утверждение было прямым следствием господствовавшей без малого полтысячи лет системы права, при которой крестьянство – более 80% населения страны – вплоть до середины XIX века на совершенно законных основаниях было приравнено к неодушевленным вещам, которые можно было покупать и продавать, и вплоть до 1905 г. за малейшую провинность крестьянин в полном соответствии с законами подвергался телесным наказаниям. Нигде больше, кроме России, отношения между государством и обществом не приобретали такой формы.

А между тем эти отношения имеют очень длительную историю. И начало им было положено в те времена, когда феодальное государство набрало силу. Феодалы переходили к оседлому образу жизни, и в результате этого безраздельное господство княжеской власти подверглось некоторым ограничениям: началось формирование общественных организаций, практически независимых от государства – т.н. «белых»



крестьянских поселений и ремесленных слобод, которые обладали такой экономической и политической силой, что даже не платили налогов в казну. Нечто подобное имело место и в средневековой Европе, но если там дело завершилось буржуазно-демократическими революциями, то в нашей стране процесс формирования независимого гражданского общества был прерван монголо-татарским нашествием XIII в. и возобновился лишь через триста лет при московских царях. В XV – XVI вв. Русское государство постепенно освобождало от жесткого непрерывного контроля земские союзы дворян и купцов, церковную иерархию и т.д., предоставляя свободным феодальным сословиям возможности для самоорганизации. При обширности территории страны и чрезвычайной сложности централизованного контроля кончилось это весьма трагично: в противоборстве сословий государство ослабело и было разрушено (не без помощи извне). Началась Смута – катастрофический период фактически безгосударственного существования общества, продлившийся с 1584 по 1613 год, т.е. со времени смерти Ивана Грозного и до избрания Романовых на Русский престол. В течение этого времени логика власти была необратимо нарушена: действия правителей перестали быть для подданных предсказуемыми и понятными (если даже кровожадный Иван Грозный посылал своих опричников за данью не чаще раза в год, то после гибели Лжедмитрия I разбойничьи набеги русских, польских, шведских, татарских военных отрядов происходили буквально еженедельно, и каждый такой отряд требовал дани именем законного русского царя – всякий раз разного: одни именовали царем Лжедмитрия II, якобы чудом спасшегося от взбунтовавшихся москвичей, другие действовали от имени польского королевича Владислава, третьи признавали владыкой России боярина Василия Шуйского и т.д.). Все эти политические группировки, толпившиеся вокруг вакантного русского престола и безуспешно пытавшиеся взять на себя выполнение функций государства, при всем несходстве своих целей были удивительно похожи в одном: они вели защиту собственного «группового эгоизма» там, где объективно требовалось отстаивать интересы всего общества как целого.

Избрание на русский престол династии Романовых положило конец этой политической неразберихе. Новым государям пришлось постепенно и неуклонно подавлять свободную деятельность

гражданских институтов, восстанавливая безраздельное господство государства над обществом, поскольку именно такое господство позволяло быстро добиться соответствующих внешнеполитических целей – отражения исламской агрессии, европейского признания России и более полного вовлечения всех наличных ресурсов страны в мировую экономику. Концентрация активностей общества в указанных государством направлениях давала возможность ударными темпами создавать армию, флот, военную промышленность и решать поставленные задачи, не считаясь ни с какими издержками, добиваясь желаемого и гигантским числом практически бесплатных рабочих рук, и умением администраторов чисто принудительными, внеэкономическими методами направить работу всех этих рук на желаемые государству цели. Эти административные акции русского государства также не имели аналогов в европейской политике Нового времени, которая базировалась на глубоком и устойчивом уважении к правам личности, особенно личности собственника.

Таким образом, государство в России развивалось не столь прямолинейно и прогрессивно, как на Западе. Краткие периоды относительной свободы взаимодействия между властью и обществом сменялись жестоким подавлением любой независимой активности; защита интересов общества тесно соседствовала с откровенным пренебрежением государства к отдельному человеку. Подобная цикличность развития – явление само по себе чрезвычайно парадоксальное – долгое время считалась всего лишь признаком культурно-политической отсталости правящей элиты и, соответственно, всего общества. В частности, именно об этом писал в своей сатирической поэме граф Алексей Константинович Толстой: «Послушайте, ребята, что вам расскажет дед: земля у нас богата, порядка только нет», – и этот шуточный рефрен сопровождал в его вольном пересказе каждое историческое событие, начиная от легендарного призвания варягов в IX в. и заканчивая правлением Николая I в середине XIX столетия. То, что «порядка» в европейском понимании этого слова в России в принципе не могло быть, поскольку русская история представляет собой уникальный опыт синтеза восточной и западной цивилизаций, не воспринималось либерально мыслящими интеллигентами того времени. Любые попытки намекнуть на «особенную статью» России безоговорочно зачислялись в ранг реакционной проповеди и подвергались общему осуждению.

Однако Россия и в самом деле обладала (и обладает!) особенной политической статью. Прежде всего, чрезвычайная активность внешних врагов на границах страны (особенно степных кочевников) обусловила практически полное поглощение гражданского управления военной организацией, своеобразное «военнодержавие» русских государей. Не закон, а исключительно воля монарха, его опыт, полководческий талант, интуиция определяли судьбу государства и общества. В той рискованной ситуации, когда от удачной импровизации правителя зачастую в буквальном смысле слова зависела судьба страны, и нельзя было действовать иначе: ориентация на жестко фиксированные правовые нормы законов или неустойчивую и капризную волю родовитой аристократии лишала государственную власть способности гибко реагировать на непредсказуемо меняющиеся события, что неизменно оборачивалось военным поражением, разорением страны и упадком общества.

Таким образом, государство выступало по отношению к обществу как сила не только организующая, но и спасающая. Эта особенность обусловила особое положение монарха-воина не только в системе управления страной, но и в общественной идеологии. Ни в одной стране мира подданный не определял свои отношения с правителем так: «У меня, молодца, четыре отца: Бог, царь, духовник, родной батюшка». И нигде, кроме нашей страны, правитель не определял свою роль так, как это сделал во время первой Всероссийской переписи населения в 1897 г. Николай II, отметивший в качестве рода своих занятий: «Хозяин Земли Русской».

Однако если у Русской земли был только один хозяин – царь, то в таком случае все остальные жители этой земли просто обречены быть послушными исполнителями хозяйской воли и лишены права на самостоятельную активность – то самое качество, которое в европейской традиции считается неотъемлемым признаком гражданина, т.е. собственника. Царь, как единственный полноправный собственник всех ресурсов страны, фактически брал на себя ответственность за все и за всех. Соответственно, государство полностью контролировало все механизмы воздействия на общество, включая финансовый. Общество же не могло воздействовать на государство никаким способом, кроме исполнения распоряжений власти: качество этого исполнения всецело определяло благополучие государства (пока подданные служат государю не за страх, а за совесть, все идет более чем хорошо, и военно-экономическая мощь государства лишь возрастает; как только подобное бескорыстное

служение заменяется палочной дисциплиной, о благополучии государства уже можно забыть – человек, понуждаемый к работе исключительно страхом наказания, не способен проявить инициативу даже в малом, образно говоря, «пороха не выдумает»; с таким безропотным исполнителем можно легко поддерживать устоявшуюся систему отношений, но ничего нового создать уже нельзя). Таким образом, *чрезмерно жесткий контроль над обществом обрекает государство на застой и технико-экономическое отставание от потенциальных военных противников; с другой стороны, ослабление надзора за обществом чревато ростом активности подданных в нежелательном для государства направлении. Поэтому от правителей России постоянно требовалось найти «золотую середину» между тотальным контролем и абсолютным безвластием, исходя из текущего соотношения социально-политических сил.*

### **Царь-реформатор и оценка его достижений потомками**

То, что страна объективно нуждалась в новом порядке общественной жизни, понималось в России на рубеже XIX и XX вв. всеми слоями населения как аксиома. Оппозиция с настойчивым упорством возвращалась мыслью к итогам деятельности царя-преобразователя Петра Великого. Его успехи не могли не впечатлять: при нем «Московия» так молниеносно «была трансформирована в “просвещенную” империю» [60, с. 108], что поразила в свое время издававших виды европейцев. Так, Вольтер признавал: Россия сделала «за 50 лет то, для чего другим странам нужно 500 лет» [60, с. 108]. За короткий промежуток времени Петр изменил в своей державе систему государственного управления и организационную структуру армии по западному образцу. В России появились законы, полиция, военная дисциплина, военно-морской флот, наука, мануфактуры, торговля. Однако синтеза Запада и России не произошло. Когда Жан-Жак Руссо заявил: «Лучше бы Петр оставил Россию русским» [60, с. 111], – у французского просветителя, очевидно, были свои резоны для такого умозаключения. Но какие основания были у Н.М. Карамзина для вывода о том, что петровские реформы не столько несли положительное начало в общественную жизнь империи, сколько явились источником русских бед? Этот историк писал в конце XVIII в.: «Мы стали гражданами мира, но в некоторых отношениях

перестали быть гражданами России. И вина лежит на Петре. Нет сомнения, что он был великим. Но его величие было бы выше, если бы он просветил русских, не лишая их гражданских доблестей» [60, с. 138]. Речь шла о том, что почти у 90% населения России реформы Петра, ухудшив материальное состояние всей этой массы людей, так и не сформировали представление о полезности западных цивилизационных ценностей, ради насаждения которых, как представлялось многим, затевались в империи глобальные преобразования. Деревня осталась глуха к петровским реформам, несмотря на то, что Россия, казалось бы, была подготовлена к ним всем ходом своего исторического развития: ведь отдельные попытки частичной «европеизации» некоторых отраслей русской жизни предпринимались еще Иваном Грозным, который приглашал из западноевропейских стран специалистов по архитектуре, фортификации, оружейному и военному делу для работы в России и обучения русских мастеров. В дальнейшем такие попытки учащались, и «европеизация» проводилась с большей последовательностью, чему пример – полки иноземного («нового») строя, созданные в царствование Алексея Михайловича, а также проводившаяся тогда политика «вхождения» в Европу – расширения торговли с западными соседями, причем на экспорт шли те же товары, которыми продолжали торговать и при Петре I: лес, пенька, парусина, меха и т.д. Такой способ «вхождения» в Европу был обусловлен меркантильными интересами: в России даже появилось теоретическое обоснование меркантилизма – «Книга о скудости и богатстве» И.Т. Посошкова.

### **Результаты европейской средневековой изоляции**

Несмотря на расширение торговых сношений России с Европой, в сознании ведущих политиков того времени сохранялось представление о несовместимости этих двух миров, существовавших на одном континенте: столь разными были их исторические судьбы, а также уровни развития и жизни народов. Россия рассматривалась как геополитический оплот православия, как страна, систематически терявшая свои ресурсы в противостоянии с варварами-кочевниками и не имевшая возможностей заняться собственным благоустройством в то время, как к западу от балтийско-черноморского «междуречья» набирала силу романо-германская цивилизация, которая не просто приобрела вид культурной общности, а оказалась в итоге особым образцом структурированной

геополитической системой. «Эта цивилизация складывается первоначально в западной части европейского полуострова и по-настоящему упрочивается с XI в. <...> Она приобретает черты прочно защищенного ареала, практически не испытывающего сколько-нибудь серьезных экзогенных (привносимых извне – А.Л.) возмущений. Этот ареал был в первую очередь защищен совокупностью государственных образований, оформляющихся в балтийско-черноморско-адриатической полосе, тем самым как бы запечатывая прорыв на полуостров из глубины континента, и в значительной степени ориентирующихся конфессионально и культурно на романо-германский дом западного христианства (в то время как на своем юго-западе этот дом был существенно прикрыт от мусульманских проникновений из Африки пиренейским барьером)» [78, с. 57]. В течение столетий коренная Европа не испытывала разрушительной угрозы извне, чреватой для континента разорением или гибелью: опасность эта «гасилась» государствами и народами, обретающимися на выходе полуострова. Эта «полуостровная» защищенность европейского ядра избавляла западную цивилизацию от накатов «варварства» и обеспечивала существование Европы как «куколки-хризалиды», «закрытой» духовной империи без единого политического центра, живущей собою и для себя [78, с. 58]. Это обстоятельство дает повод считать, что коренная Европа стала процветающей не столько потому, что ее население умело как-то особенно хорошо и успешно трудиться, сколько потому, что именно закрытость от внешних угроз и ориентированность лишь на саморазвитие послужили западному миру главным шансом эволюционировать, без помех «развивая исключительно те программы, которые проистекали из особенностей его внутренней структуры» [78, с. 58]. Со временем на территории континентальной коренной Европы «к зрелому средневековью <...> вырастают две крупнейшие западно-христианские державы – королевство Франция и Священная Римская империя германской нации» [78, с. 58], а к первой половине XVI в., в дни Карла V, «власти Европы оказались оформлены как единая большая политическая система, где каждый занимал свое место» [78, с. 59]. Однако обе названные выше сверхдержавы продолжали вести между собой открытую и жесткую борьбу за гегемонию, прибегая к изощренным перегруппировкам коалиций с целью смещения баланса сил – каждая в свою пользу. В результате к концу XVII в. произошли структурные перемены в Европе, когда на правах «больших запасных» стали политически активно проявлять себя страны, игравшие до сих пор весьма ограниченную роль на континенте: главным «балансиrom» Европы к этому времени становится «владычица морей» Англия, а «новым “разбойничьим” субцентром поднимается Пруссия, общипывая Австрию и пытаясь переманить Россию в свои союзники» [78, с. 59].

У Священной Римской империи

теряется опора на Испанию, которая «ускользает» из Габсбургского блока. Для сопротивления попыткам сместить баланс сил требуется мощная поддержка слабейшему восточному центру – Австрии.

### **Представления Европы и России друг о друге**

Именно по этой причине Запад впервые обратил свой взор на Россию, увидев в ней державу, уже способную участвовать в европейских событиях. А до той поры внешние сношения Московского государства с Западом ограничивались почти одной Польшей. И у простых крестьян, и у русских правящих кругов «понятия о других странах были характера полубаснословного. Знали, что на севере живет свейский (шведский – А.Л.) король, с которым мы часто воевали, а на юге – турецкий султан, поганой веры. Время от времени отправлялись пышные посольства римско-немецкому (австрийскому – А.Л.) цесарю и принимались таковые от него. Про “аглицкого” короля знали, что он живет за морем и царствует “не по Божьему соизволению, а по мятежных человеков хотению”, – чином, стало быть, будет пониже цесаря. Из остальных иноземцев лучше всего знали итальянцев – мастеров на все руки – зодчих, живописцев, музыкантов и лекарей – и голландцев – мореплавателей и торговцев, живших на Немецкой слободе. Взаимоотношения иностранных держав нам были совсем неизвестны» [27, с. 20].

На Западе о России знали тоже немного. Считалось, это настолько слабое в военном отношении государство, настолько обессиленное монгольскими захватчиками, что оно не в состоянии было совладать даже с крымскими татарами, которые своими наглыми набегами почти беспрепятственно опустошали весь юг России. Мало того, они уводили в рабство бесчисленное число русских, и московское правительство ничего не могло поделать с этими «степными хищниками». В одном только 1688 г. крымские татары угнали в рабство свыше 70 000 человек [27, с. 13]. Сколь огромной была эта потеря для российской стороны, станет ясно, если вспомнить, что в те времена численность всех живших в Московском царстве составляла всего лишь 17 миллионов человек, т.е. так мало, что даже «количество населения Швеции тогда превышало Россию» [27, с. 67, 22]. К слову сказать, «просвещенная Европа» не гнушалась косвенным соучастием в преступлениях «степных хищников», скупая за бесценок у этих «каннибалов» русских невольников на рынках Востока [27, с. 13]. По данным известного слависта профессора В.И. Ламанского, за четыре

столетия – с XV по XVIII вв. – в результате «успешной» работорговли людские потери Великой и Малой Руси, а также частично и Польши составили от 3 до 5 миллионов жителей обоего пола. Ламанский исследовал архивы Венецианской республики и в своих ученых записках писал: «Венецианские посланники XVI века говорят, что вся прислуга Константинополя и турок и у христиан состояла из этих русских рабов и рабынь. Не было нянек и кормилиц, если крымцы долго не чинили набегов на Восточную и Западную Русь. Русские рабыни встречаются еще в XV веке в разных городах Италии. Немало было русских рабов у мамелюков в Египте. С конца XVI века, в XVII и даже XVIII столетии Венеция и Франция употребляли русских рабов на военных галерах как гребцов-колодников, вечно закованных в цепи» [27, с. 13]. Правители европейских держав не жалели денег на покупку этих рабов на рынках Леванта.

### **Стимулы для великих перемен в петровской России**

Россия к 70-м – 80-м годам XVII столетия все явственнее погружалась «в глубокий и полный маразм»: наступило государственное банкротство (в обиход ввели даже медные рубли); надвигалось окончательное закрепощение крестьянского сословия («простая полицейская мера Годунова была превращена в половине столетия в крепостное право стараниями “крючкотворцев”»); религиозные распри, придворные интриги, не прекращавшиеся восстания и бунты (не случайно время от окончания Великой Смуты до воцарения Петра I совершенно официально именовалось московскими историками не иначе, как «бунташный век») привели Русь к полному упадку, а царская власть ослабела настолько, что анархия грозила окончательно одолеть страну, низведя разделенную на сферы влияния «Московию» до положения «какого-нибудь Бухарского ханства или Абиссинской деспотии» [27, с. 14]. «Чтобы вывести страну из этого маразма, нужна была железная воля и железная рука» [27, с. 14], но не ради самоутверждения правителя, а ради великодержавности России. Молодой царь Петр I понимал, что промедление смерти подобно, если страна не получит выхода к главным морским путям, а оба моря – и северное (Балтийское) и южное (Черное) – находились под властью Швеции и Оттоманской Порты (Турции). Задача эта – насущная и наипервейшая потребность, а не прихоть Петра: «в продолжение всей своей истории Россия стремилась к свободному морю, как лишенное света



растение стремится к солнцу. Русь родилась на волнах – в варяжской ладье, – ее национальная политика не могла не быть политикой в первую очередь морской <...>. Петр понимал, что лишь выходом к морю можно вернуть России ее великодержавность. Архангельск и недавно приобретенный Азов не могли иметь значения для развития сношений с заграницей вследствие своего слишком окраинного положения» [27, с. 19]. Но борьба за «воду» требовала новой армии с новым оснащением, а также строительства флота и создания производственной базы для обеспечения боеспособности вооруженных сил. Все это было невозможно без развития горного и металлургического дела, машиностроения, судостроения, легкой промышленности. Однако осуществление задуманного упиралось в нехватку квалифицированных кадров: в России не было знающих инженеров; офицерство слабо владело военной наукой; финансовая система нуждалась в упорядочении; грамотных чиновников можно было по пальцам пересчитать, да они к тому же не имели представления о способах стимулирования не только развивающегося промышленного производства, но даже традиционного для страны сельского хозяйства. Русский царь нуждался в сподвижниках, а их было немного не только вовне, но и в придворных кругах.

Вот почему желание вывести Россию «на международное ристалище» [27, с. 21], сохранив и укрепив при этом национальную и традиционно великодержавную политику, многим казалось неподъемной задачей. Но одержимость молодого хозяина земли Русской не знала границ. Поручкой успеха, однако, была не только эта особенность характера царя-преобразователя, но и то, что он обычно «ничего не предпринимает даром, руководствуясь всегда одними лишь интересами “государства, Петру вверенного” <...>. Умея требовать <...> сверхчеловеческих усилий (до переноса кораблей на руках за сотни верст включительно), Петр никогда не расходует <...> сил попусту, зря» [27, с. 53]. Справедливость этих слов особенно важна, если учесть, что Петр ни в чем не полагался на самотек и не искал простых решений, а шел к цели кратчайшим путем, ориентируясь исключительно на практические результаты. Так, нацеленность русского царя на Запад была продиктована отнюдь не стремлением «европеизировать» Россию. Приобретение «окна в Европу» представлялось ему более приоритетным, но не потому, что, «питая отвращение к иезуитам и опасаясь не без основания роста их

влияния в России, <...> не желал завязывать особенно тесных сношений с латинянами» [27, с. 20]. Это царевна Софья, руководствуясь концепцией «Москвы – Третьего Рима», была сторонницей латинской культуры – тогдашнего эталона всемирности. Петр же стремился «искать света» у голландцев, англичан и датчан не ради тяги к их культуре, а для того, чтобы в борьбе со Швецией за балтийское побережье заполучить союзников, «у которых были свои счета со свейским королем» [27, с. 20]. Для завоевания черноморского побережья такой заинтересованной союзнической поддержки не было, а без нее борьба с Османской Портой того времени представлялась изначально обреченной на жестокое поражение. И напротив, овладение прибалтийскими территориями имело больше шансов на успех, который сулил еще и расширение возможностей Московского царства.

### **Реформирование России началось с военного дела**

Поставленная перед Россией цель все равно была непомерно сложна для реализации из-за того, что вопросом вопросов для Петра оставалось плачевное состояние военного дела России, которое удручало абсолютным отсутствием каких-либо организационных начал. Если на Западе в армии царил принцип найма, вербовки, и воинская служба была доходной профессией, то на Руси в основу военной системы был положен принцип «обязательности», принцип «повинности»: большая часть армии состояла не из регулярных войск, а из земского ополчения, созывавшегося в военное время, «что придавало вооруженной силе Московского государства милиционный характер» [27, с. 14]. Армейскую службу в России в конце XVII века можно было сравнить с <...> отбыванием лагерных сборов. Солдаты, поселенные в слободах, мало-помалу омещанивались, утрачивали воинский дух и даже воинский вид. Большинство обзаводилось семьями и занималось ремеслами, ничего общего с военной службой не имеющими. Под ружьем они находились в общей сложности месяц или два в году. Безвременье 70-х и 80-х годов пагубно отразилось на стрельцах, превратившихся в смутьянов и бунтарей, – каких-то янычар Московской России, – и представлявших своим существованием государственную опасность» [27, с. 17]. Азовские походы убедили молодого царя в малой пригодности такой армии: солдатские и стрелецкие полки проявили тогда почти полное отсутствие боеспособности и дисциплины.

Петра I сразили результаты двухмесячной осады турецкой крепости, во время которой 70-тысячная русская армия с трудом справилась с пятью тысячами осажденных турок [27, с. 18]. Царь понял, что реформировать армию волей-неволей придется, распустив «янычар» и набрав «профессионалов», но опять же не по найму, как на Западе, а по традиционной «повинности» [27, с. 18]. Перво-наперво, Петр специальным указом ввел обязательную, личную и пожизненную службу дворян. 16-летних недорослей – «новиков» – экзаменовали на предмет знания грамоты и «цифири». «Не выдержавшие этого экзамена “писались солдатами” без выслуги, а выдержавшие брались на государственную службу: две трети в военную, треть в гражданскую. От службы не освобождался никто» [27, с. 50]. Офицерский корпус Петру удалось сформировать довольно быстро, и опираться в государственных делах он теперь мог не только на ближайших сподвижников – «птенцов гнезда Петрова», – но и на «авангардию» общества, с которой, правда, требовать дело можно было, лишь дав ей много выгод. Вот почему, возложив на каждого дворянина личную пожизненную служебную обязанность, Петр I сознательно пошел на то, чтобы дворянство получило главенствующее положение на Руси: «из среды дворян выходят первые сановники, из дворян состоит гвардия, дворяне служат офицерами в армии, в их руках находится суд и все другие отрасли управления» [77, с. 381].

### **Препятствия к реформированию армии**

Практика показала, что – как ни странно – именно возвышение дворянства явилось главной помехой в решении государственных задач: ставя собственнические интересы выше целей царя-реформатора, помещичье общество наносило планам Петра непоправимый урон. Например, в деле комплектования рядового контингента вооруженных сил России вроде бы не наблюдалось открытой дворянской обструкции, однако пагубное влияние привилегированной среды на этот процесс переоценить трудно. Речь идет о широко распространенном явлении российской действительности – о произволе господ-крепостников, которые взяли за норму считать сословие землепашцев своими данниками и присвоили себе право бесконтрольно увеличивать крестьянскую подать «второе, а местами вчетверо», «стричь» холопа, «яко овцу, догола», налагая «бремена неудобноносимые», вводя ежедневную барщину и тем самым лишая земледельца возможности в рабочую пору обрабатывать крестьянский надел, не давая даже «единого дни,

еже бы ему на себя что сработать. И тако пахотную и сенокосную пору всю и потеряют у господ» [77, с. 380]. Дворяне повсеместно забирали у земледельцев не только «положенное», но требовали еще и «излишние» поборы, а что «тем излишеством крестьян в нищету пригоняют» [77, с. 380], – помещиков это мало заботило. Правда, случались у господ-крепостников и неприятности, когда холопы не выдерживали гнета и на первых порах пытались найти заступничество у государя. «Просим и молим и умильно вопием, – писали крестьяне <...>, – сановные твои бояре и князи <...> яко львы челюстями своими пожирают нас и яко змеи ехидные расвирипея напрасно попирают, яко же волци свирепые; бьют нас, яко немилостивые Пилаты... Государь, смилуйся, пожалуй» [77, с. 380-381]. Петр намеревался приструнить «беспутных мотов и разорителей» из числа помещиков указами, на основании которых судам давалось право отбирать имения у неумеренно алчных крепостников. Однако в судах все дела вершили представители дворянского сословия по принципу круговой поруки, когда свой своего не обидит. Напрасно сподвижники Петра внушали дворянам мысли И.Т. Посошкова о том, что «крестьянам помещики не вековые владельцы... прямой их владетель всероссийский самодержец, а они владеют временно. И того ради не надлежит их помещикам разорять <...>, понеже крестьянское богатство – богатство царственное» [77, с. 381]. Однако крепостников урезонить не удавалось, и окладные платежи с холопов продолжали расти, «создавались недоимки, которые вели за собой выколачивание платежей, свирепство команд и чиновников, посылавшихся для сбора доимочных денег» [77, с. 380].

В ответ крестьяне от нужды и безысходности «дома свои оставляют и бегут – иные в понизовые места, иные во украинные, иные и в зарубежные. Тако чужие страны населяют, а свою пусту оставляют» [77, с. 380]. При малой общей численности жителей в стране катастрофическое сокращение сословия, плодами труда которого держалась экономика России, вело к опустошению российских территорий: тут не только создание мощной армии оказывалось под ударом – само существование страны было под вопросом.

### **Введение в России рекрутской повинности**

Именно в такой обстановке Петр I принял решение, аналога которому не было ни в российской, ни в европейской практике. По мысли царя, огромная профессиональная армия на Руси могла появиться лишь при условии общинного характера рекрутской повинности недворянских сословий, когда любая община – хоть

сельская, хоть мещанская – обязана была решением общего схода выделить для солдатской службы по рекруту от определенного числа душ. Такой мерой решались сразу три проблемы:

1. Поскольку рекрутчина являлась пожизненной повинностью, из-за чего община навсегда лишалась некоторого числа молодых трудоспособных работников ежегодно, то уравниловкой «по справедливости» достигалось смягчение протестных волнений, неизбежных при произвольной разрядке по комплектованию армии, так как следствием неплановой непродуманности могло оказаться разорение общины и появление огромной массы людей, лишенных средств к существованию.

2. «Призванные под знамена» рекруты – «подневольные профессионалы» – обычно с трудом и довольно долго привыкали к участи «отрезанного ломтя» и тосковали по семье и родным местам. В случае территориальной системы комплектования, при которой землякам выпадало служить вместе, рекрутчина психологически переносилась легче: «“на миру и смерть красна” – и молодые полки скоро приобретали необходимую спайку» [27, с. 62 – 63].

3. Кроме того, община собирала поставленному рекруту деньги на его содержание в течение всего времени его службы, что в период петровских реформ имело колоссальное значение.

### **Организационные преимущества «тяглой» русской общины перед самоуправляющимися общинами европейского типа**

Разумеется, общинная организация жизни сел и деревень должна была соответствовать поставленным задачам и отличаться от норм, принятых в крестьянских поселениях на севере России, где сельская община представляла собой самостоятельное общественное образование и вершила все дела по управлению и суду, собирала казенные подати и платежи и доставляла их без посредников своими силами в Москву. Это были очень напоминавшие европейские самоуправляющиеся, а не хозяйственные общины: здесь «участки земли, обрабатываемые членами общины, составляли собственность не всей общины, а отдельных хозяев, которые могли продавать, покупать, завещать свои участки, распоряжаться ими, как своею частною собственностью. И это представление о своей земле на севере было настолько сильно, что выдерживало все натиски из Москвы, стремившейся проводить принцип, что земля – государева, а земледельцы только пашут ее и снимают с нее урожай как плод трудов своих на государевой земле. Крестьяне северных

черносошных земель отказывались платить какие-либо налоги, которые придавали характер пользования ими землей, являвшейся в их глазах неотъемлемой собственностью» [77, с. 385]. При такой общинной организации не была обеспечена исправность платежа податей по двум причинам: во-первых, в северных общинах не было гарантий для обеспечения прочности «круговой поруки плательщиков податей, разверстывавших платежи между собой: при свободе частного владения землей плательщики, связанные круговой порукой, не имели возможности поддержать прирезом общественной земли случайно начавшего беднеть общинника и вообще не могли так уравнивать землевладение в своей среде, чтобы не получались безработные и безземельные. Во-вторых, при свободе частного владения землей земельные участки неизбежно скоплялись в руках зажиточных владельцев и ускользали из рук беднейших; благодаря этому получались лица, сравнительно богатые и в своем кругу могущественные, которые стали стремиться всю тягость повинностей и платежей перелagать на зависевших от них по займам и ссудам бедных; эти последние оказывались не в силах платить, благодаря чему создавались и росли недоимки. Кроме того, лишая многих мелких небогатых землевладельцев их владений, эти “мироеды”, как тогда говорили, способствовали созданию массы безземельных» [77, с. 386-387], с которых взятки гладки, а казне – кукиш. Такое положение никак не устраивало царя, и он сделал ставку на так называемую «тяглую» общину, где «старинное устройство сбора податей, ведущее свое начало от организации сборов ордынской дани, невольно сплачивало <...> отдельных плательщиков в целые группы, с которых шел самый сбор. Тяглая, т.е. платящая община создавалась по способу раскладки податей, известную сумму которых правительство хотело получить с определенных сел и деревень. Тогда село или деревня естественно решали распределить доли подати сообразно платежным силам каждого плательщика, причем самые силы его измерялись количеством земли, которую он обрабатывал; происходило “вервление”, т.е. измерение при помощи веревки с узлами отдельных участков, после чего участки земли и облагались каждый соответственно своей величине долей подати; такая тяглая община распоряжалась отдельными участками только тогда, когда хозяева бросали их пустыми, а сами уходили; в таких случаях община поневоле должна была приискать кого-нибудь хотя бы только

“жильцом”, т.е. временным владельцем на выбылой участок, потому что правительству не было дела до отдельных уходов, и в сделанных им писцовых и переписных книгах этот участок считался занятым» [77, с. 387]. Разрешение любой ситуации падало на плечи «мира», т.е. всех членов общины, потому что вся земля, на которой трудились крестьяне, считалась собственностью «мира», а все платежи казне, какое бы назначение они ни имели, складывались в общий сбор по простому принципу: «мир» не только делил землю на доли по числу душ, попавших в ревизские «сказки» при переписи населения, не только распределял участки по жребью между общинниками, но также еще и нес полную материальную ответственность – «ручался всем миром» – за каждого члена общины перед государевой казной. Последнее обстоятельство вынужденно приучало сельскую общину знать все обо всех, вникать в подробности жизни общинников: деревня зорко следила «за теми, кого подозревала в желании бросить тягло; уйти из общины было возможно только с согласия мира, при условии, чтобы уходящий поставил вместо себя заместителя» [77, с. 388], а иначе доля каждого выбывшего падала на плечи оставшихся: казне было безразлично, сколько душ на самом деле живет в деревне спустя время после переписи – «мир» все равно должен был заплатить и за тех, кто в наличии, и за тех, кто «в нетях». Общинники поневоле делались строгими блюстителями нравов и порядка, чтобы не допустить убыли населения за счет попавших в тюрьму или на каторгу. Они чурались любых «смутьянов». Всем миром общинникам приходилось содержать престарелых и немощных, а также травников, целителей и повивальных бабок, чтобы как можно меньше в деревне было смертей и как можно больше рождений, ибо «если население данной местности удваивалось, каждому работнику приходилось платить, так сказать, всего полдуши, а если население уменьшалось вдвое, то работник платил за две души и более; отсюда при счете стали появляться странные выражения: осьмуха души, душа с четвертью и т.д.» [77, с. 298].

Здесь уместно отметить то, что и современники Петра, и его потомки, и зарубежные исследователи, анализирувавшие результаты петровских реформ, абсолютно выпустили из поля зрения два важнейших обстоятельства: русский царь-преобразователь ставкой на тягловую общину, сам того не подозревая, создал предпосылки не только для дальнейшего небывалого прироста населения (за два

последующих столетия оно выросло в 10 раз – такого итога не наблюдалось ни в одной стране Европы!), но и заложил в рамках монархического государства основу принципиально новой – коллективной – организации хозяйственной и социальной жизни, охватившей подавляющее большинство жителей страны и совершенно не похожей ни на какие другие, известные в то время народам мира.

### **Безуспешные попытки Петра увеличить казну монополизацией торговли**

Это преобразование социальной организации у Петра получилось попутно, вышло само собой, так как в 1720-х гг. царь-реформатор просто не задумывался над этими вопросами. Его волновало тогда единственное: как улучшить хозяйство и финансы державы, как реорганизовать вооруженные силы, где добыть средства для их обеспечения. По расчетам царя, «содержание 73 полков стоит без малого 3 миллиона рублей, а гарнизонных полков – один миллион» [77, с. 291]. Чтобы увеличить казну, сначала Петр I прибегнул не к изменению налогового обложения крестьян, а к монополизации торговли, «т.е. взятию в исключительное право государства продажи некоторых выгоднейших предметов сбыта как внутри страны, так и за границу» [77, с. 276]. В стране увеличили цену на соль, табак, деготь, коломаз, мел, рыбий жир, ворванное и квашеное сало, щетину. Но население в ответ на дороговизну снизило потребление этих товаров. Тогда, по свидетельству англичанина Витворта, царский двор России «совсем превратился в купеческий: не довольствуясь монополией на лучшие товары в собственной стране» [77, с. 276], правительство стало покупать по низкой цене и перепродавать с большим барышом англичанам и голландцам товары, пользующиеся спросом за границей, поставив дело так, что, «кроме казны», никому иному торговать с зарубежными странами не позволялось [77, с. 276]. От внутренней монопольной торговли Петр надеялся получать 400 тысяч рублей в год, а наскрести удавалось едва 150 тысяч. Вырученные за границей деньги были еще меньше – всего около 93 тысяч в год. Таким образом, доход не поспевал за неудержимо растущим расходом, и государству грозило разорение. Петра мучили небеспочвенные опасения: страна «могла захиреть, “провалиться” и принадлежать уже не столько истории, сколько географии, то есть существовать все больше в пространстве, а не во времени» [65, с. 117].



## **План разверстки платежей на податное население. Результаты опоры на «цыфири»**

Царю-реформатору, хотя и понимавшему, что жизнь русского мужика и без того наполнена «бесконечною скудостью и нищетою» [77, с. 293], не оставалось ничего иного, кроме как возложить все расходы на плечи тягловых общин, – ввести «поголовщину», «как то во всем свете ведется» [77, с. 289]. После переписи населения, давшей представление об общем числе плательщиков податей, Петр, опираясь на «цыфири», подвел итог: вся тяжесть рекрутской повинности должна была лечь на 10 тогдашних великорусских губерний, из числа же малороссийского населения следует формировать войска милиционные, иррегулярные – ландмилицию и казачьи отряды [27, с. 52]; обложения общинников умеренной подушной податью не получалось – «пятьдесят человек могли содержать одного драгуна, а 35 душ – одного пехотинца» [77, с. 291]. Зато после новой разверстки платежей казна, вместо поступавших ранее 1,8 млн. рублей, стала получать налогов на сумму в 4,6 млн., т.е. «с введением подушной подати эта статья бюджета увеличилась на 2,8 миллиона» [77, с. 291-292]. Для крестьян эта цифра означать могла только одно: введенный Петром налог превышал втрое налог предыдущих лет [77, с. 291].

Только ценой глубокого истощения платежных, моральных и физических сил населения было достигнуто то, что к концу царствования Петра I в его действующих вооруженных силах насчитывалось 112 тысяч строевых при 480 орудиях. Одну треть полевых войск составляла конница. Помимо этого, в русской армии имелось 68 тысяч гарнизонных войск, 10 тысяч ландмилиции, 35 тысяч казаков и 25 тысяч личного состава флота – всего «250 000 пожизненных профессионалов» [27, с. 58-59]. Конечно, в обычных условиях такая численность войск чрезмерна, но не надо забывать, что при Петре Великом Россия в течение двадцати пяти лет (!) находилась в состоянии вынужденных жестоких войн с недружественными соседями: именно в эти годы она в кровопролитных битвах «получила Лифляндию, Эстляндию, Ингрию, южную Финляндию по линии Кексгольм – Выборг включительно <...>. Русский флаг развевался от Выборга до Риги, Балтийское море перестало быть шведским озером» [27, с. 46]; именно при Петре «было занято все Каспийское побережье, и вся северная Персия (три провинции, с Баку, Дербентом, Астрабадом и

Рештом, переименованным в Рязань) превратилась в русскую область. Каспийское море сделалось русским озером» [27, с. 48]. Все это досталось России ценой огромных потерь. Это потом, при наследниках Петра, население страны многократно вырастет, а при Петре, «несмотря на приобретение людных прибалтийских провинций, число народонаселения убавилось <...> против того числа, какое было при царе Алексее. Но эта страшно тяжелая жертва была принесена не даром, а во имя действительных нужд великого государства» [77, с. 99]. В пылу преобразований, в горячке шведской войны Петр Великий старался не думать о том, что пустеют губернии и зарастают поля, что крестьяне, чтобы ликвидировать недоимки, «не токмо лошадей и скот, но и семенной хлеб распродавать принуждены, а сами терпят голод и большая часть может быть таких, что к пропитанию своему впредь никакой надежды не имеют и великое уже число является умерших не от чего иного, токмо от голоду» [77, с. 293]. Податное население России уменьшилось в целом на 20%, а по некоторым губерниям убыль дворов представлялась катастрофической: Архангельская и Санкт-Петербургская «убыли» на 40%, Смоленская – на 46%, Московская – на 24% [65, с. 116]. Страна, терпя немыслимые лишения, положила на алтарь победы неисчислимые жертвы. Царь Петр – ради возвеличивания Российской державы – не жалел ничего и никого, даже самого себя. Так, во время Прутского похода 1711 г., готовясь к бою и предвидя возможность трагического исхода, Петр «заготовил указ сенату: в случае пленения, его государем не считать и его распоряжений из плена не выполнять» [27, с. 43]. Боялись этого неистового царя, – но равных ему в величии и преданности Отчизне больше в России не было.

### **Неумение преемников Петра воспользоваться результатами его реформ и побед**

Однако не пропали ли даром многие старания и достижения царя-ратоборца, царя-труженика? Взять, к примеру, хотя бы события после присоединения к России северной Персии, когда «Петр занял исходное положение для движения на Восток – через Белуджистан в Индию, в обход среднеазиатских пустынь – либо на Юг, к незамерзающему морю – Персидскому заливу и Индийскому океану. К сожалению, ближайшие преемники Петра Великого не поняли всей огромной выгоды Русской Персии. Они видели лишь невыгоду содержания дорого обходящихся гарнизонов и администрации на

далекой беспокойной окраине с нездоровым климатом. Сейчас же после смерти Петра начались длительные переговоры с персами об уступке этих завоеваний обратно, и в феврале 1732 года заключен договор, а в ноябре 1735 года наши войска окончательно оттуда выведены. Одна из самых блестящих возможностей развития российской великодержавности была упущена» [27, с. 48], чем не замедлила воспользоваться Британская империя, воцарившаяся спустя время на Персидском заливе.

Вторым ударом по петровским реформам следует назвать перемены в армии: «флот во вторую четверть столетия пришел в полное запустение. В конце 20-х и начале 30-х годов много старых офицеров и солдат было уволено в отставку. Для облегчения бюджета военной коллегии стали наряжать войска на вольные работы, употреблять солдат на должности, ничего общего с военным делом не имеющие: прислуги, курьеров различных ведомств, даже почтальонов» [27, с. 68]. Такая армия, разумеется, мало была похожа на петровскую. То, чему посвятил свою жизнь царь-реформатор, разрушалось на глазах. «При Петре <...> русские войска без чрезмерного напряжения проделывали за одну кампанию 1000 и 1500 верст, нисколько не теряя боеспособности: от Минска с боями до Полтавы, от Полтавы до Риги, от Риги до Ясс... Теперь же войска не могут сделать и 200 верст, не придя в полное расстройство! “Все, что приготовил Петр Великий своим мозолистым трудом, было растеряно, – пишет один из исследователей этой эпохи, – и в Турецкую войну перевелись ветераны Полтавы”» [27, с. 85]. Надо ли удивляться, что России после Петра приходилось подписывать мирные договоры на условиях, не соответствовавших ни достоинству России, ни огромному количеству жертв [27, с. 82]. Можно ли было хуже распорядиться наследием царя-реформатора и случайно ли это?

### **Причины наметившегося при Петре раскола в «верхнем мире» России**

Еще в дни Петра обнаружилось много недовольных его действиями. Что крестьяне роптали («Как его Бог на царство послал, так мы и светлых дней не видим» [77, с. 537]), что солдатские жены проклинали («Мужей наших побрал в солдаты, а нас с детьми осиротил и заставил плакать век» [77, с. 537]), – это было понятно: стонал и бунтовал несчастный люд от нищей безысходности и обездоленности. Что в церквях Петра «антихристом» величали – это тоже понятно: помимо переделки колоколов на пушки, а золотой

церковной утвари – в монету (дела, вполне обычные для русских государей, начиная еще с Ивана Грозного, который во время войны с Ливонским орденом тоже решил проблему бюджетного дефицита, переплавив золотые иконные оклады в червонцы), именно этот царь открыто пародировал церковные ритуалы в проводимых на чужеземный манер ассамблеях, постоянные участники которых – самые деятельные петровские сподвижники – именовались не иначе, как «всешутейший и всепьянейший собор». Но преобразователя российской жизни ненавидели и «чинодралы» всех рангов, даже из числа тех «высокоблагородий» и «сиятельств», которые благодаря именно Петру обрели свое элитное положение. Они-то почему поверяли шепотком друг другу тайное желание свое: «Так бы, кажется, своими руками его и удавил!» [77, с. 537]? Не потому ли, что пока царь бился над тем, чтобы «не щадя живота своего» «победить шведа, добиться моря, создать войско и флот, вскрыть естественные богатства России, развить промышленность и торговлю» [77, с. 543], – многие сиятельные вельможи не знали покоя только в одном: как сохранить в тайне от неистового царя происхождение своих неслыханных богатств, добытых взятками, воровством или противозаконными ухищрениями во время сбора податей?

В петровскую эпоху многие сколотили свои огромные состояния из неучтенных поступлений в казну путем создания вокруг налоговых процедур атмосферы хаоса, насилия и произвола, воспользовавшись тем, что, как свидетельствовал доклад П.И. Ягужинского, «плательщики по большей части не знают, что и сколько должны платить, и не получают надлежащих квитанций <...>, бедные подданные <...> вынуждены часто платить один и тот же налог несколько раз <...>, отсюда происходит великое разорение для плательщиков, а казна ничего не выигрывает, так как эти лишки делаются добычей частных лиц» [77, с. 297]. А между тем, эти «частные лица», уставшие ждать «беспечального житья» среди обретенной роскоши, пытались объединить всех противников царя – и тех «выскочек», что возвысились благодаря Петру и теперь претендовали на роль бесконтрольных властителей на земле русской, и тех, кто никогда не забывал, что они – «природные князья» [77, с. 551], а их уравнивали с «отребьем» и потребовали исполнения «черной работы» – считать солдатские портянки да податные копейки холопов. Поэтому они всячески уклонялись от любой «практической деятельности, движения, умения распорядиться заготовкой

солдатских сапог и мундиров», не хотели участвовать в том, чтобы «принять вовремя нужное число рекрутов и вовремя доставить их, куда прикажет командующий генерал» [77, с. 544], и т.д., и т.п. Раздражала многих противников Петра и готовность царя самолично выполнять любую работу за плотника, за шкипера, за солдата, за кого потребуется. Вызывало недоумение также и желание правителя вмешиваться в вопросы обустройства армии. Например, у рекрутов «ежедневный “порцион” состоял из фунта (1 фунт = 409 граммов – А.Л.) мяса, двух фунтов хлеба, двух чарок (1 чарка = 0,123 литра – А.Л.) вина и гарнца (кварты) пива (1 гарнец = 3,28 литра – А.Л.). Ежемесячно выдавалось полтора гарнца крупы и два фунта соли. Царь сам испытал на себе в продолжение месяца этот паек, раньше чем утвердить его» [27, с. 60], как будто для подобных экспериментов не нашлось людей поменьше рангом. Но, пожалуй, больше всего бесили шумные пиры Петра со сподвижниками, очень похожие на попойки. Испытывая брезгливое пренебрежение к веселью и жестоким, даже безобразным шуткам пировавших, противники Петра не задумывались над тем, что периодические загулы были той традиционной психологической разгрузкой, в которой нуждался всякий русский, живущий в беспредельном напряжении, совсем как сказал поэт – «кто до смерти работает – до полусмерти пьет».

А бремя ответственности Петра Великого и невиданных дотоле для правителя России обязанностей «свинцовой тягой» ежедневно ложилось «на плечи ему, взявшему непосильную человеку тяжесть: одного за всех» [57, с. 103]. Казалось, что сама неумная деятельность русского царя-реформатора служила неммым укором тем, кто предпочитал считать нормой жизни не активное участие в преобразовательных процессах, а «домоседство и лежебокость» – подальше от всякой техники, навигаций, военной и государственной службы. Люди «домашних удобств и привычек» [77, с. 544] ощущали себя невольной жертвой перед царем-«мучителем», ибо были уверены, как заметил С.М. Соловьев, что «нет более сильного мучительства, как требование переменить свою природу» [77, с. 544].

### **Использование оппозицией трагических отношений Петра с сыном, царевичем Алексеем**

Особенно ярко эти настроения отразились на судьбе сына Петра Великого – царевича Алексея, потому что именно они были причиной взаимного непонимания царя и наследника. Это было

на руку всем противникам Петра. Царевич – «сам подневольный» – «искал общества недовольных и, конечно, находил: они сами шли к нему» [77, с. 545].

От активного противоборства с царем этих людей останавливал страх: «тайная канцелярия» и ближайшее окружение царя – этот «всешутейший, шумнейший собор» Петра [77, с. 545] – были всесильны и опасны. Противники царя-реформатора осторожно провоцировали царевича на бунт против родителя. Зная, какое место в сердце Петра Великого занимает Россия и как нуждается он в наследнике-единомышленнике, оппозиционеры стремились отдалить сына от отца, побольнее ударить всемогущего правителя тем, что подталкивали царевича на заявление об отречении ради ухода в монастырь. 19 января 1716 года Алексей написал отцу: «Милостивый государь-батюшка! <...> Желаю монашеского чина и прошу о сем милостивого позволения. Раб ваш и непотребный сын Алексей!» [77, с. 557]. Письмо должно было сразить Петра, так как он был еще очень слаб после внезапно свалившейся болезни, настолько тяжелой, что дело дошло до приобщения святых тайн; министры и сенаторы ночевали в царских покоях, ожидая всего худшего» [77, с. 556]. Но Петр – наперекор судьбе и ожиданиям жаждавших его смерти – выздоровел и превозмог душевную боль после прочтения сыновнего послания. Царевич родительского благословения на монашество не получил, однако обращение Алексея «к иноземному государю» за покровительством взбесило Петра настолько, что русский царь, хотя на словах и простил сына, но не только лишил Алексея «наследия», а и 4 февраля 1718 г. «царевичу было предложено по пунктам написать <...> о сообщниках. Письменное приглашение подать пункты звучало довольно грозно: “<...> Все, что к сему делу касается <...>, то объяви и очисти себя, как на сущей исповеди, а ежели что укроешь и потом явно будет, на меня не пеняй: понеже вчера перед всем народом объявлено, что за сие пардон не в пардон”» [77, с. 563]. Царевич сообщников выдал, но себя старался выгородить и поэтому «многое утаил» [77, с. 563], просил «дозволения» жениться на своей служанке Ефросинье и «пожить» с ней в деревне. Допрошенная Ефросинья выдала все, как на духу: и «мечты о воцарении», и «надежды на насильственную смерть отца, на бунт войск», если к власти будет допущена жена Петра, так как от «бабьего царства» «добра не будет, а будет смятение» [77, с. 563]. Царевича Алексея казнили решением особого верховного суда и «по воле монарха» [77, с. 566].

## Последствия вражды в семье монарха

Петр, потрясенный тем, какую «авессаломскою злостью надмен был сын» его [77, с. 568], издал указ о наследстве вообще и престолонаследии в частности: «Милосердую мы о наших подданных, чтоб партикулярные их дома не приходили от недостойных наследников в разорение, <...> отдали то на волю родительскую, которому сыну похотят отдать, усмотря достойного, <...> который бы не расточил наследства. Кольми же паче должны мы иметь попечение о целостности всего нашего государства, <...> дабы сие было всегда по воле правящего государя, кому оный хочет, тому и определит наследство <...>. Всяк, кто сему будет противен, или инако како толковать станет, то за изменника почтен, смертной казни и церковной клятве (т.е. проклятию – А.Л.) подлежать будет. Петр» [77, с. 568]. Указ этот имел трагические последствия для российского государства, потому что «русский престол в течение всего XVIII в. был игрищем судьбы, причем решающую роль в праве претендентов на престол играла гвардия <...>. Ни одно восшествие на престол в течение XVIII в. не происходило мирным порядком» [77, с. 570].

Дело царевича Алексея имело еще два тяжелейших для Руси последствия: «деятельности министров тайной канцелярии не было положено никаких законом определенных преград» [77, с. 572], а также пышным цветом расцвело доноительство за деньги. Ужасом веет от кровавых повествований о расправах с непокорными в пыточных «тайной канцелярии». При чтении книги М.И. Семеновского «Слово и дело» расправы эти оставляют впечатление девяти кругов ада: «аресты... допросы... тюрьмы... дыба... кнут... клещи... жжение живых... плаха... стоны... вопли... мольбы о пощаде... и всюду кровь, кровь и кровь» [77, с. 574]. Нельзя сказать, что такая жестокость была порождением «варварски дикой» России: пытка и на Западе оказывалась в те времена единственным надежным средством добиться от обвиняемого нужного признания. Каких только машин и орудий пыточного мастерства ни хранит, например, Мюнхенский музей. Да и в музеях других европейских стран собрание инструментов истязания могло поразить всякого, кто ознакомился со средствами свирепой расправы над живыми людьми: «о иных орудиях и машинах зрителю трудно бывает сообразить, какое могло быть назначение их, как терзали они человека» [77, с. 575]. В России пытки не отличались большим разнообразием

и «изысканностью»: били кнутом на дыбе, затем жгли — или каленым железом («клещами») или горящим веником. Большинство страдальцев-колодников умирало во время пыток. Жестокие меры, воплотившиеся в кровавой истребительной деятельности «тайной канцелярии» России служили средством расправы не только с бунтовщиками, но и с представителями высших кругов общества, заподозренных по доносу в измене русскому царю. Продолжение этой политики могло привести к искоренению российской элиты, жаждавшей независимости и «сословного первенствования и преимуществ» [77, с. 390]. Конвейер смерти пыточных камер в «тайной канцелярии» не знал остановки: никто не был защищен от доносительства и истязаний.

### **Упразднение «тайной канцелярии» и закрепление привилегированного положения помещиков в России**

Лишь после Манифеста Петра III в 1762 г. об упразднении «тайной канцелярии» дворянство получило некоторые гарантии своей безопасности. Появление Манифеста аргументировалось тем, что, оказывается, благодаря существованию в стране кровавого учреждения «злым, подлым и бездельным людям подавался способ <...> зlostнейшими клеветами обносить своих начальников или неприятелей», поэтому пришло время «пресечь путь к производству в действо их ненависти, мщениия и клеветы» [77, с. 578].

Дворянство России воспрянуло духом. Оно долго шло к утверждению своего истинного привилегированного положения в стране. Помещиков совершенно не устраивало то, что Петр, желая привлечь все слои населения России к реальному участию в преобразовательном процессе, стремился построить взаимодействие всех сословий русского общества на принципах армейской соподчиненности и видел в дворянах беспрекословных исполнителей царской воли, поставленных во главе рядового состава, командирами над крестьянством. Назначив дворян на роль такой «авангардии» и освободив их от податей, Петр наделил помещиков личной ответственностью за создание такого состояния податного населения и таких условий жизни в общинах, чтобы поступление налогов в казну и рекрутов в армию осуществлялось своевременно и в полном объеме. Чтобы дворянин знал, за кого именно он буде отвечать перед властью, за каждым помещиком закреплялась определенная территория крестьянских поселений (независимо от того, жили там вольные крестьяне или холопы). При проведении переписи на этой



земле всех крестьян приписывали в ревизских списках к тому помещику, на территории ответственности которого их застала ревизия [77, с. 389, 390]. Таким образом, по планам Петра, помещик на вверенном ему участке Российской империи должен был обеспечивать рекрутские наборы и податные сборы, поддерживать порядок, не допускать, чтобы среди крестьян появлялись беглые или неспособные оплатить недоимки, т.е. помещик должен был выполнять роль гражданского надзирающего служащего.

Подробно вникать в проблемы русской деревни «командирам»-помещикам не хотелось из-за убеждения, что это неблагоприятное и утомительное занятие, ибо личные адаптационно-поведенческие стратегии в сельской общине подчинялись не принятым в обеспеченных сословиях процессам. Особенность общинных стратегий состояла в непостижимом для дворян влиянии на выживание как любого отдельно взятого члена общины, так и всего этого сообщества в целом: здесь царил принцип «один за всех, все за одного». Власть любого уровня устраивало это правило. Мало того, она при случае пользовалась этим: и каяться, и спины подставлять под нагайки заставляла и правого, и виноватого – без разбора. Такая коллективная ответственность стала копией норм, принятых Петром I в армии, где действовал принцип «римской децимации» в отношении провинившихся. «Посрамления» царь Петр требовал такими мерами: «полки или роты, которые с поля сражения побегут, судить в генеральном военном суде и, <...> если виновные – <...> рядовые, то <...> из последних по жребию десятого <...> повесить – прочих же наказывать шпицрутенами и сверх того без знамен стоять им вне обоза, пока храбрыми деяниями загладят преступления» [27, с. 60]. Правда, петровский «Устав Воинский» предусматривал обязательность рассмотрения дела «в генеральном военном суде», и если кто «докажет свою невиновность, того пощадить» [27, с. 60]. Помещики это примечание военного устава в своей практике исключили, и за любой «бунт» с петровских времен общинников наказывали без всякого разбирательства всех скопом: либо казнью, либо каторжными работами, но чаще всего – беспощадной «секуцией» [44, с. 31-32]. Так дворяне репрессиями приучали крестьян к покорности, к мысли о том, что несвобода – это естественное состояние деревенского населения, это – крестьянская доля.

Фактическое господствующее положение дворяне стремились закрепить еще и юридически: выделив из контекста царских документов удобные для себя фрагменты и определенным образом

сместив акценты, они вскоре стали толковать указы Петра как закон, дающий помещику право считать своей собственностью всех «крестьян, живущих на его земле, с которой они не имеют права уйти, привязанные к ней законом, как живая рабочая сила, обрабатывающая эту землю и тем кормящая пожизненного государева слугу – землевладельца» [77, с. 389]. Именно на такой интерпретации царского указа о статусе дворянского сословия в Российской империи настаивали дворяне и шаг за шагом шли к тому, чтобы это толкование узаконить – чтобы положение вещей де-факто было признано де-юре. Если при Петре действовать в этом направлении приходилось с известной осторожностью из-за опасений нечаянно навлечь на себя царский гнев и оказаться в руках «тайной канцелярии», то в послепетровские времена дворяне последовательно добивались своего. В 1727 г. крепостных без согласия помещика власти уже не могли «забрить» в армию; в 1730 г. крестьян лишили права приобретать в собственность какую бы то ни было недвижимость, чем окончательно их закрепостили (ведь приобретение недвижимости давало крестьянину законные основания для переселения из-под помещичьего контроля, – а именно этого крепостники и не могли допустить): нарушителей этого запрета публично наказывали кнутом, а их имущество подлежало конфискации. Положение крестьян стало еще более зависимым, когда в 1731 г. им запретили брать откупы и подряды, а с 1734 г. стало невозможным для них открывать фабрики и заводы; с 1741 г. принесение присяги на верноподданство оставили только для свободных людей – крестьяне в это число больше не входили; в 1746 г. запретили владеть крепостными всем не-дворянам; с 1747 г. разрешили помещикам продавать крестьян, кому захотят, для отдачи в рекруты, а с 1760 г. позволили ссылать крепостных в Сибирь без суда, по единоличному решению барина [77, с. 381-382]. Практическое применение этих указов наблюдалось в каждой ситуации купли-продажи помещичьего имения: если дворянин покупал поместье, то впридачу ему доставался и весь «живой инвентарь», поэтому всякий землевладелец немедленно начинал считать своей собственностью не только усадьбу, пашню, леса и луга, но и всех крестьян, живущих на земле, которая в ревизских «сказках» была записана за помещиком, превратившимся из царского служащего в рабовладельца-крепостника; а из крестьянина столь же неуклонно и постепенно вытравивали всякое представление о возможности жить свободно, превратив его из самостоятельного

человека в личную вещь дворянина. Все это, вместе взятое, создавало условия для сословной розни между крестьянами и их господами. Даже в официальных бумагах и актах стали именовать крестьян «людьми подлыми», а дворян – «благородными» [77, с. 390]. Рознь эта подчеркивалась одеждой, манерами, языком, занятиями.

### **Новый облик России**

Начало этому разобобщению сословий было положено еще при Петре, когда дворяне слишком много времени стали отдавать балам. Особенно старались приближенные Петра, хотя сам император «терпеть не мог разных придворных торжеств», «не стеснясь дам, снимал кафтан», «не любил парики», а когда уставал на пирах, «то уходил полежать» [77, с. 616-617]. При этом царь не возражал, когда сановники стремились «ввести у себя в доме вельможный тон и манеры французского дворянства» и умели задавать балы, «где всем было весело и приятно» [77, с. 617]. «Петербургские придворные дамы, по словам людей, знавших двор Парижа и Берлина, не уступали француженкам и немкам ни в чем: ни в светских манерах, ни в умении одеваться, краситься и причесываться; французский язык был уже в таком ходу, что светская дама петровского двора приветствует речью французского посла на его родном языке и ведет с ним остроумную беседу. Молодые люди, побывавшие за границей и вкусившие всей прелести тогдашней людскости, уже не видят цели всякого собрания только в том, чтобы всласть поужинать и здорово выпить; от стола все спешат к танцам и стараются быть галантными с дамами» [77, с. 617-618].

Эти «ассамблейные» правила требовали, чтобы высшее общество носило расшитую золотом и серебром одежду, ездило в золоченых каретах. Как отмечал историк кабинета Петра Великого, уж очень хотелось высшему обществу России, чтобы разнеслась по свету молва, что «русский двор в подобающих случаях не отстает от других дворов, обладая средствами и умением веселиться, как веселились в Европе» [77, с. 645]. Все это говорит о том, что трансформационный процесс коснулся сравнительно небольшой группы населения – лишь представителей привилегированного сословия – примерно 0,5% живущих в стране [60, 103], потому что даже не все дворяне могли сказать о себе: «Переделав Отечество, Петр Великий сделал нас подобными другим европейцам <...>. Связь между прежней и новой Россией обрезана навсегда. Мы не хотим

имитировать иностранцев, но мы <...> живем, как они, читаем их литературу, у нас тот же интеллект и вкус» [60, с. 138]. Петр I, отправляя дворянскую молодежь на выучку в Европу, надеялся, что молодые люди, получив западное образование, поведут за собой всю страну. Но этого не случилось. Причину объективно настроенные представители просвещенного дворянства с горечью определили сами: «Образованные люди у нас слишком офранцузились и онемечились, чтобы понимать все русское <...>. О Франции у нас знают лучше, чем о России. Петровская реформа так отрезала нас всех от народа, что мы разошлись с ним не только понятиями, но даже образом жизни, столом, языком, платьем, интересами. Английский лорд или французский барон не так чужды своему простонародью, как наши образованные люди; жизнь первых – усовершенствование народной, а наша – подражание заграничной» [26, с. 201]. Именно поэтому дворянство стало расценивать реформы Петра как стремление русского царя во что бы то ни стало «цивилизовать Россию», и такое понимание обернулось в конце концов насаждением идеологии, искажавшей основы национальной жизни. В стране сложился маленький «внутренний Запад», но уродливого характера – нетрадиционного не только для России, но и для Европы. Историк Иван Никитич Болтин, оценивая состояние России к концу XVIII в., писал в своих «Примечаниях на историю древней и нынешней России» в 1788 г. следующее: «Когда мы стали посылать наших юношей за границу и поручили дело их воспитания иностранцам, наша мораль изменилась; вместе с предполагаемым просвещением в наше сердце пришли новые предрассудки, новые страсти, новая слабость, желания, незнакомые нашим предкам. Это ослабило в нас прежнюю любовь к Отечеству. Мы забыли старое, не освоив нового» [60, с. 112]. Царь Петр, который все силы свои положил на алтарь великодержавности России, не того ждал от молодых, а они не умели и не хотели жить по его правилам. Они просто не способны были понять своего царя: самоотверженностью ради величия отчизны петровские последователи не страдали! Прагматичная Европа, получая большие деньги за обучение русских «недорослей», с недоумением взирала на них как на людей, которые «владели огромной и отсталой страной», но в своем стремлении модернизировать ее, чтобы занять достойное место в Европе, действовали более чем странно. Они – в лучшем случае – «проводили значительную часть времени не в поисках эмпирических

решений» имевшихся проблем, а постигали умозрительные системы самых отвлеченных западных философов, занимаясь при этом чаще всего «удивляющим мучительным самокопанием» [60, с. 152]; в худшем случае – они, пренебрегая процессом обучения, предавались радостям заграничной жизни и самым порочным забавам с такой беспечной безответственностью, что оставили немало насмешливо-язвительных анекдотов о русских, «промотавшихся в Париже» [54, с. 29] или каком-либо другом европейском городе. Разумеется, были и те, кто потом прославил свое отечество, но это было скорее исключение из правил, потому что подавляющее большинство посланцев за наукой в Европу не оправдало надежд ни царя-реформатора, ни его потомков, да еще к тому же вызвало осуждение и Запада, и России, так как и за рубежом, и по возвращении на родину они не столько интересовались возложенными на них обязанностями, сколько демонстрировали свое пренебрежение и к мировым, и к традиционным русским ценностям. Дело в том, что в когорту новоиспеченного просвещенного дворянства вошли молодые люди, «прежде не титулованные, не знатные, иногда вообще из народа, “со стороны”» [65, с. 110], – те, которые попали в число избранных, что называется, «прямо из грязи в князи». Их было немало. Они кичились своим знанием европейской жизни, презирали и даже ненавидели и своих родителей-простолюдинов, и родовитых бояр, которые вели мужицкий образ жизни и не знали изящных западных манер. Это обстоятельство подталкивало «новых дворян» ко всякого рода выпячиванию своего господского положения после неожиданного возвышения над «тягловым скотом» – русским мужиком. Чувствуя себя иностранцами в собственной стране, они благоговели перед каждым европейцем, посетившим Россию, встречая его как «родственную душу». Это влекло «за собой раболепство перед всем иностранным и недооценку и хулу всего русского, как бы недоверие к собственному достоинству. Качества эти <...> на протяжении двухсот лет явились самой скверной чертой русского характера – считать каждого малограмотного иностранца “барином”, а каждого сколько-нибудь грамотного уже “авторитетом”» [27, с. 49]. Особенный вред это бездумное, благоговейное преклонение перед иностранщиной нанесло отношениям просвещенного дворянства с собственным народом, потому что новое пополнение привилегированного сословия освоило во время обучения за рубежом лишь внешнюю атрибутику

проявлений европейской цивилизованности, не вникая во внутренний смысл общественных связей и принципов западной культуры, поэтому свобода понималась как вседозволенность, которая нашла выражение в тяге просвещенного «превосходительства» к безделью, разнузданной распущенности и безмерной жестокости по отношению к подчиненным. Добиться безапелляционного права на роскошную и беззаботную жизнь «новое дворянство» могло лишь обретением такой власти, какую имел Петр I, когда «от податей, оброков, дорожных и войсковых повинностей стоном стонала земля», когда «думать, даже чувствовать что-либо, кроме покорности, было воспрещено» подданным, а непокорным «днем и ночью при свете горящего смоля, на брошенных в грязь бревнах, рубили головы» [57, с. 82, 83]. Только такая власть была надежной гарантией господства новых хищных хозяев жизни в России. Отныне деспотичное и надменно-высокомерное отношение к зависимому окружению стало сочетаться у них с беззастенчивостью в том, что любовь к отечеству уступила место любви к роскоши, а на смену духовным ориентирам пришел моральный релятивизм. «Верхний мир» поменялся неблагоприятно и враждебно на глазах у миллионов мужиков, а народная идеология, народные понятия подверглись сильнейшим потрясениям. Итоги петровской реформы не только восхищают, но и ужасают, потому что огромные жертвы и беспрецедентные по размерам подати – это еще не полный перечень народных страданий. Пожалуй, самым страшным итогом критики петровских реформ называли внутренний раскол нации, когда диктатура энергичного преобразователя Петра Великого сменилась новой диктатурой других – ленивых, амбициозных и кровожадных «Петров Маленьких», беспрепятственно грабивших собственный народ ради обогащения небольшого числа избранных, для которых все русское отождествлялось с дикостью и варварством. Вердикт Н.М. Карамзина по итогам реформ краток: «Петр не был способен понять, что национальный дух составляет основу мощи каждого государства, необходимый элемент ее физической мощи. Уничтожая старинные обычаи, высмеивая их, русский суверен затронул русские сердца. А способен ли униженный человек на великие дела?» [65, с. 112]. Но проблема оказалась катастрофичнее обозначенной, потому что на самом деле царь-реформатор, не считаясь с национальным достоинством и традициями, начал ломать свой, по выражению В.О. Ключевского, «способный, неприхотливый и покорный народ» [65, с. 112], а доломали его, обратив в рабство, именно «хищные дворяне».

Роковой ошибкой Петра называли также еще и превращение православной церкви в бюрократическую инстанцию государства. Началом послужило упразднение патриаршества. Тайна исповеди вскоре стала признаваться второстепенной по сравнению с тайной государственной; доносительство получило статус богоугодного дела, хотя это противоречило народному общепринятому правилу – «кто станет доносить, тому голову не сносить» [12]. Передав церковь под светское начало, Петр I лишил привилегированную часть общества могучего духовного регулятора, так как воспитательное религиозно-нравственное воздействие церкви слабо распространялось на правящее сословие, которое все чаще демонстрировало духовенству пренебрежительное отношение. Религиозная обрядность для многих дворян медленно, но верно превращалась в формальный процесс: атеизм по-вольтеровски был явлением новомодным в этой среде. Модным было также строительство домашних молелен и часовен, в связи с чем богатое сословие стало редко посещать приходские церковные службы, т.е. даже религия теперь не объединяла дворян с простым народом.

Кроме того, в империи положение и почести в обществе теперь определялись петровской «Табелью о рангах». Первое штатное расписание появилось, правда, не в гражданском обществе, а в русской армии по инициативе неплохого администратора саксонца Огильви, которого в 1704 г. принял на службу Петр, чтобы наладить армейскую хозяйственную и строевую часть. Огильви дело поставил так, что каждое ответственное лицо получило четкое представление об уровне своей компетенции при выполнении служебных обязанностей. Так возникла армейская «табель о рангах», указывающая соотношение чинов по старшинству и дисциплинирующая весь офицерский состав строгим предписанием прав и обязанностей всех находящихся в штате армии [27, с. 29]. Затем ее принцип был положен в основу гражданского общественного ранжирования, но предназначение этой «табели о рангах», утвержденной в 1722 г., было иное: где «Ваше высокопревосходительство», а где «Ваше сиятельство» или «Ваше величество», – отныне все должны были знать на зубок. Когда трудно было определить, с кем имеют дело, к нему обращались – «уважаемый» (к солидному) или «милейший» (к любому). Простолюдина звали просто «эй!» или «человек!». Соблюдение иерархических церемоний было обязательной процедурой, символизировавшей признание авторитарного принципа

подчиненности низших социальных кругов высшим, поэтому представление о своей избранности формировалось в дворянском сословии с малолетства, и это вырабатывало привычку чувствовать себя кастой неподсудных, стоящих над традициями и законом – и юридическим, и нравственным. Все это, вместе взятое, привело в конечном итоге к тому, что после реформ Петра Великого российское общество разделилось на две неравные части – многомиллионную рабски-бесправную неграмотную «чернь» и малочисленную всемогущую просвещенную элиту: возникло «два народа в одном» [60, с. 132], между которыми произошел разрыв, взаимное отчуждение. «Ни в одной стране мира не бывало подобного раскола между “господами и слугами”, как в петровской и послепетровской Руси» [65, с. 116]. Это явление повлияло на восприятие страны западным миром: огромный восточный сосед получил образ варварской деспотии, принципиально отличающейся от европейской цивилизации. «Случилось не то, чего хотел гордый Петр; Россия не вошла, нарядная и сильная, на пир великих держав. А подтянутая им за волосы, окровавленная и обезумевшая от ужаса и отчаяния, предстала новым родственникам в жалком и неравном виде – рабою. И сколько бы ни гремели грозно русские пушки, повелось, что рабской и униженной была перед всем миром великая страна, раскинувшаяся от Вислы до Китайской стены» [57, с. 84].

Больше всех от петровских реформ выиграли «новые дворяне»: именно они были заинтересованы в возведенном разделительном барьере между собой и собственным народом. И даже при таких результатах им по-прежнему не хватало чувства меры, готовности к компромиссам, понимания разницы между желаемым и возможным. Стремление покуражиться над «дремучими» мужиками-«лапотниками» стало привычной нормой, переходящей в изощренное издевательство над бесправными и безропотными исполнителями барской прихоти. Взаимная вражда росла и находила свое отражение в русских народных сказках: в обобщенном образе правителя-самодура многие сановные обидчики могли себя узнать. Сказка всегда была хоть и «ложь, да в ней намек»: как в жизни, так и в устном народном творчестве все барские затеи обычно сводились к тому, чтобы у холопа любимую жену отнять или невыполнимую работу поручить, словом, «извести добра молодца». Голыми руками из «ничего» творил народ чудо из чудес, которым господа перед иноземными гостями хвалились, забыв, правда, упомянуть, что расплатились с творцами этих невиданных красот тумакami



да пинками. Как в сказке, так и в действительности просвещенные господа вмешивались в судьбу народа, приказывая: «Пойди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что», – и гнали народ в неведомую жизнь с непредсказуемыми преградами и неизвестным результатом. А послушайся люд, не исполни барского наказа – «голова с плеч». Так и стали жить-поживать в большом «русском доме» – народ, который сделали рабом, и господа, назначенные Петром I на роль авангарда империи.

### **Благородное дворянское ничегонеделание**

Главным занятием этой руководящей силы самой большой державы мира стало «благородное дворянское ничегонеделание» [60, с. 130]. В послепетровские времена жизненное кредо просвещенного сословия сводилось к тому, что если и надо что-либо делать, то только высокое, благородное. Но поскольку в варварской стране не могло быть, по мнению дворян, дела высокого и благородного, а был лишь «черный труд» – занятие не для высокородной и европейски образованной персоны, а для «черни», для «быдла», то для помещика «ничегонеделание» стало главным смыслом существования. Безделье рядили в одежды беззаботного, нескончаемого праздника жизни. «Дворянское презрение к черному труду и его исполнителям» [60, с. 131] стало всеобщим правилом среди дворян, а в любой деятельности приветствовался лишь триумф блестящей формы над полезным содержанием. По словам Г.П. Федотова, это стало великой бедой России, ибо дворянин лень не только считал своей наследственной привилегией, но и умудрялся привить этот порок «даже людям, которые не успели еще отмыть своих трудовых рук... Еще более опасным, чем презрение к черному труду, было презрение к хозяйству» [60, с. 131] – не только к своему собственному, но и к государственному. Заботы о своем имении собственники-феодалы поручали управляющему; свои родовые поместные владения с легкостью необыкновенной могли проиграть в карты или продать за долги вместе со всем крепостным населением, или отдать в залог и т.д. Государственная служба тоже, как правило, не была обременительной. До половины второго дня любое министерство «вообще являло пустыню». Князь Голицын как-то раз поведал о том, «что, приехав однажды в Петербург, он около полудня был в министерстве земледелия для свидания с министром; на него с удивлением посмотрели: “Их высокопревосходительство раньше двух часов не будут”. Князь отправился на квартиру <...>, но

и там не был принят, потому что “их высокопревосходительство почивают еще”. Князь так был поражен, что, спускаясь с лестницы, во весь голос – а он у него, как труба, – кричал: “Погибла Россия! в полдень министры спят еще!” А после шести часов начинали уже собираться домой, так что служба больше походила на five o'clock (чаепитие – А.Л.) и все интересы лежали вне ее» [8, с. 132]. Если учесть, что рабочий день крестьянина начинался еще до рассвета и заканчивался далеко за полночь, при этом работали все от мала до велика, а городской пролетарий трудился по 13 часов в сутки, то работу чиновного просвещенного дворянства никак не назовешь тяжелой ношей. Какого сорта обязанности были у ответственного авангарда империи – это особый рассказ. Когда, например, готовили царю доклады на подпись, то работа эта представляла собой «настоящее священнодействие. В десять рук рассмотренный и исправленный доклад <...> сдавался наконец в переписку особым каллиграфам. <...> Два чиновника вслух сверяли изображенную на толстой веленовой бумаге рукопись. Тем же порядком сверял ее начальник отделения с помощником, затем <...> доклад представлялся директору и товарищу (заместителю – А.Л.) министра <...>. Наконец, министр, одобрив доклад, отчетливо выводил под ним свою подпись, чтобы назавтра отвезти в Царское Село или Петергоф. И тем не менее – у семи нянек дитя без глазу – случались комические описки. Какая была паника, сколько запоздалой тревоги, когда однажды, на благополучно вернувшейся от государя бумаге, увидели, что перед подписью стоит: “за министра товарищ **ф**инистра” <...>. По возвращении с аудиенции министр <...> писал: “собственной его императорского величества рукой начертана <...> резолюция <...> в Царском Селе такого-то числа”, а сама <...> резолюция покрывалась лаком, и доклад передавался в архив для хранения на правах реликвии» [8, с. 131]. Случались курьезы и вовсе анекдотичные: как-то курьер перепутал бумаги для товарища министра с министерскими документами. Путаницу «наверху» не заметили и подписали – каждый не свои документы. А в отчет бумаги с перепутанными подписями не подошьешь! «Выручил старый, опытный начальник отделения, который сказал: “Ничего тут трудного нет. Надо все бумаги переписать и опять послать их к подписи <...>”. Так и было поступлено, а бумаги на следующий день вернулись надлежащим образом подписанные» [22, с. 87]. А вот еще один случай с нижегородским генерал-губернатором, «на которого

зубы точил правитель его канцелярии. Зная, что губернатор часто подписывал бумаги, не читая их, он, желая избавиться от неприятного начальника, заготовил официальное прошение об отставке губернатора и подsunул ему это прошение к подписи. Прощение было подписано, отправлено по назначению, и с одной из ближайших почт была получена из министерства бумага, извещавшая губернатора о том, что он уволен в отставку согласно прошению» [22, с. 87]. Следующий пример – из практики Московского Архива Коллегии иностранных дел, который имел славу «рассадника для образования к статской службе лучшего в Москве дворянства» [50, с. 211]. Без высочайшей рекомендации определиться на службу в Архив было крайне сложно. Должность «актуариуса» получали хорошо образованные московские юноши, один из которых так изобразил характер их обязанностей: «Служба наша главнейше заключалась в разборе, чтении и описи древних столбцов. Понятно, что такое занятие было для нас мало завлекательно. Впрочем, начальство было очень мило: оно и не требовало от нас большой работы. Сперва беседы у нас стояли на первом плане; но затем мы вздумали писать сказки, так чтобы каждая из них писалась всеми нами. Десять человек соединились в это общество, и мы положили писать каждому не более двух страниц и не рассказывать своего плана для продолжения. Как между нами были люди даровитые, то эти сочинения выходили очень забавными, и мы усердно являлись в Архив в положенные дни – по понедельникам и четвергам. Архив прослыл сборищем “блестящей” московской молодежи, и звание “архивного” юноши сделалось весьма почетным» [50, с. 50]. Остальное время эта «даровитая» молодежь посвящала балам, салонам, театрам, прогулкам. Эти «денди» задавали тон светской жизни.

### **Рабство на Руси и его жертвы**

Если бы дело было в праздности и лени, в профессиональной недобросовестности и гражданской инфантильности этой незначительной части населения (в чистом виде всего 0,5% от общего числа и около 10% с ближайшим солидарным окружением), то вряд ли общественную жизнь России сотрясали бы грозные катастрофы: народ, который привык трудиться не покладая рук, сумел бы прокормить и себя, и праздную элиту. Но теневой стороной блистательного царствования в стране просвещенных дворян, утопавших в роскоши, было рабство. Этим термином вполне

уместно пользоваться «как наиболее точно и правдиво передающим смысл “крепостного права” – термина слишком расплывчатого, как бы “вуалирующего” действительность и дающего даже основания некоторым исследователям сравнивать русскую “барщину” с “барщиной” европейской и пытаться даже искать с ней какую-то аналогию (“У нас, мол, крепостное право упразднено лишь в 1861 году, но и в ряде германских земель оно существовало до 1848 года” и т.д.). Сравнение это немыслимо. Вассальные европейские крестьяне принадлежали поместью, русские крепостные являлись личной собственностью помещика. Европейская барщина – остаток феодализма – обязывала крестьянина работать на своего “сеньора” известное количество дней в году в порядке повинности. Вне этой повинности он был совершенно свободен в своих занятиях и поступках, его личность, его семья и жилище были неприкосновенны, и при случае он мог найти управу на феодала (вспомним потсдамского мельника, пригрозившего Фридриху II судьей). Русский крепостной, напротив, был рабом в полном смысле этого понятия. Его можно было продать, купить (“оседло” или “на вывод” – в дальние губернии), заложить в банке, обменять на другого раба, на борзого щенка, на какой-нибудь понравившийся рабовладельцу предмет. Можно было силой женить, выдать замуж, сдать в рекруты, разбить семейную жизнь раба, истязать его» [27, с. 140-141].

Секретный доклад особой комиссии Александру I о положении крепостных крестьян в России выявил такие жестокости, что они могут встать в параллель со средневековыми историями. Всем известная Салтычиха зверски замучила 38 крепостных рабынь. А вот о домашнем тире помещика Струйского мало кто знал. Этот поэт екатерининских времен, приглашая гостей, предлагал им веселое развлечение: в домашнем тире «господа развлекались тем, что заставляли крепостных мужиков бегать на ограниченном пространстве и стреляли по ним из ружей и пистолетов пулями» [5, с. 60]. Когда это веселье надоедало, поэт «устраивал над кем-нибудь из своих крестьян суд по всей форме, а приговор был всегда одинаков: “Запытать до смерти” <...> (у Струйского была целая коллекция пыточных орудий, старательно скопированных со средневековых образцов)». Попытки для бедняги прекращались «не раньше, чем жертва выпускала дух» [5, с. 60-61]. О таких зверствах предпочитали не рассказывать, а сам секретный доклад, изобиловавший примерами бесчеловечных истязаний крепостных, аккуратно спрятали подальше от глаз людских на долгие времена.

Не следует думать, что среди просвещенного дворянства вовсе не было порядочных людей. Но и они были заражены болезнями крепостнического строя. Они не истязали своих крепостных, не допускали по отношению к холопам самодурства, но «рабство развращает всех – и рабов, и господ. Вот вам печальный пример: известнейший русский книгоиздатель и просветитель Н.И. Новиков. Был у него преданный крепостной человек, который, когда барина посадили в темницу за вольнодумство, добровольно, из чистой преданности, за ним в тюрьму последовал. Очень его любил Новиков. Даже за стол, празднуя с друзьями освобождение из тюрьмы, с собой посадил. Да вот однажды взял да и продал. Больно уж хорошие деньги дали, две тысячи рублей, а дела были в расстройстве» [5, с. 61]. Даже самые прогрессивные представители просвещенного дворянства и мысли не допускали, что крепостной – это прежде всего человек. Трудно представить, чтобы путешественник Семенов Тянь-Шаньский оставил без последствий сцену, свидетелем которой он был, если бы дело касалось дам привилегированного круга. А поскольку на вечеринке у знакомого предводителя дворянства присутствующим «после обеда с обильными винными возлияниями» были предложены гостеприимным хозяином на выбор крепостные девушки, которых расставили в саду на пьедесталах как «живые статуи» [5, с. 62], то позорный для порядочного человека поступок почему-то не вызвал особого дискомфорта ни у путешественника, ни у собутыльников этой вечеринки. По крайней мере, никто не хлопнул дверью и не попытался такого радушного предводителя дворянства призвать к суду чести.

Нельзя сказать и того, что в Российской Империи не было строгих законов, по которым за жестокое обращение с крепостными могли отдать под суд и даже конфисковать имение. Такое случалось. Но закон не был гарантией защиты пострадавших, потому что в России «личное усмотрение служителей Фемиды» в большинстве случаев «торжествовало над велением закона» из-за того, что якобы «судейская совесть должна служить коррективом – оказавшегося в данном случае несправедливым – закона». А то, что такая «благонамеренность» являлась служебным произволом, не смущало законников, допускавших своеволие [8, с. 103]. Такой подход к закону считался оправданной мерой, а иначе не только ли помещные дворяне, но и сам царь, и его родня были бы призваны к ответу за всю теневую сторону их поступков и привычек. Что крепостники, когда даже великие князья свои жизненные неурядицы вымещали на подчиненных! Его высочество Николай Николаевич-младший,

ощущая себя «нелюбимым», «держался особняком в Императорской Фамилии, где пользовался общей неприязнью <...>. Человек необыкновенно грубый и чуждый благородства, он совершенно не считался с воинской этикой и позволял себе самые дикие выходки в отношении подчиненных ему офицеров» [29, с. 43]. Великокняжеская среда не выдвинула «ни одного государственного ума», зато дала большое «количество дилетантов, обладателей синекур (от лат. “sine cura” – без заботы – обозначение высоких и хорошо оплачиваемых должностей, исполнение которых, тем не менее, не требует особой подготовки и усилий – А.Л.)» [29, с. 30]: все достигшие совершеннолетия великие князья «назначались на ответственные должности с огромными окладами жалованья, при полной фактической безответственности, так как ответственность перелагалась на их помощников и в большинстве случаев оказывалась несуществующей» [44, с. 279-280], и в итоге служба князей действительно «обращалась в синекуру, очень часто шедшую во вред делу» [29, с. 30]. Разумеется, «мужи совета» из числа сановных аристократов, призванных оказывать помощь правящему дому Романовых, «были преисполнены самого беззастенчивого карьеризма». Под стать им были и прочие дворяне, которых на службе за глаза, но и по делу, именовали либо на французский манер «les prokhvostys», либо «людьми 20-го числа» – дня выдачи жалования, в который они осчастливливали департамент своим присутствием [29, с. 31]. Авангард империи не тяготел к самостоятельному творчеству, а за огрехи скороспелых, непродуманных решений расплачивался, как правило, крепостной народ, терпя произвол, незаслуженное унижение и невыносимые условия существования. Процессы в любой сфере общественно-политической жизни России базировались на копировании западных идей – копировании дилетантском, некомпетентном, не учитывающем особенностей собственных условий. Своя история мало чему учила. Скажем, такое событие, как «Великий Двенадцатый год», должно было бы внести свои коррективы во внутреннюю политику империи. Многотысячная армия, где бок о бок сражались и офицеры, дворянские сыновья, и солдаты, крестьянские дети, спасая друг друга в бою, – вознесла славу русского оружия в Европе: «для войск Ермолова, Дохтурова, Раевского, Дениса Давыдова и Платова не существовало невозможного <...>, высоко стоял престиж их на Родине.

Молодые

тайные советники с легким сердцем меняли титул превосходительства на чин армейского майора либо полковника, статс-секретарству предпочитали роту или эскадрон» [28, с. 8]. Мадам де Сталь, посетившая Россию в самый разгар Отечественной войны, писала: «В обществе почти не видно было молодых людей – все ушли в армию: женатые, единственные сыновья, господа, владельцы огромного состояния, служили простыми добровольцами» [54, с. 52]. «Молодой граф Мамонов ставил свой полк и сам хотел служить в нем только подпоручиком. Графиня Орлова <...> жертвовала четвертую часть своих доходов. <...> Говорили, что вот владелец этого [дворца] дал государству тысячу крестьян, тот – двести. <...> Странно было слышать выражение “дать людей”, но надо сказать, что сами крестьяне шли на войну с воодушевлением и на войне господа были лишь их руководителями. <...> Предлагали дать свободу всем шедшим на военную службу; тогда бы вся страна оказалась свободной, ибо на войну поднялись почти все» [54, с. 32], но не только и не столько за обещанную свободу, сколько за освобождение Отечества. Госпожа де Сталь лишь в самой России поняла, что эта любовь к Отечеству и преданность верованиям являлась не результатом сиюминутного взрыва патриотических чувств или желания получить от государства свободу, а была следствием «кровавых бедствий истории» [54, с. 34]: «воинственный дух русских воспитывался в войнах с татарами, поляками и турками, среди жестокостей, которые поддерживались, с одной стороны, дикостью азиатских народов, с другой – лютостью тиранов, правивших Россией. Их отвага не благородное мужество Баярдов и Персиев, но неустрашимость неистовой храбрости, которою жила Россия в продолжение многих веков» [54, с. 33]. Поскольку мадам де Сталь наблюдала русское общество при особых обстоятельствах – «в пору несчастий и воодушевления, время самое удобное для наблюдения» [54, с. 29], – то самое главное, что поразило ее, что стало первым «предметом удивления» – это «сила сопротивления и готовность к жертвам, которую выказал этот народ»: «Россия похожа на шекспировские пьесы, где все величественно, что не ошибочно, и все ошибочно, что не величественно» [54, с. 31]. Появление общественного самосознания этого народа объективно заслуживало самого высокого признания: «Слава победоносности, которую доставили этому народу бесчисленные успехи его войск, горделивое самомнение

знати

и способность самопожертвования, которая так сильна в народе, вера, влияние которой велико и могуче, ненависть к иноземцам, которую старался искоренить Петр I, желая сделать страну просвещенной, но которая все же осталась в крови русских и пробуждается при всяком случае – все это, вместе взятое, делает народ могучим» [54, с. 29]. Однако в России существовала беда – и со стороны это было виднее: хотя у этой «нации много мощи и величия, но у нее нет порядка» [54, с. 47], и «весь народ находится в рабстве» [54, с. 30].

Казалось бы, Отечественная война 1812 года настолько в одном патриотическом порыве объединила элиту с народом, уравнив их перед пулями неприятеля и перед ликом смерти, что это единение могло стать залогом для нового общественно-политического обустройства России. Ведь многотысячная русская армия, выполняя освободительную миссию в европейских странах, была поставлена лицом к лицу с истиной, открывавшей разницу между Россией и Западом: и офицерский корпус, и солдатская масса – обе составляющие войска-победителя, отметив процветающее благосостояние Европы, воочию увидели, что Россия отличалась от западных стран не только высоким уровнем жизни всего населения, но еще и принципиально иными социальными взаимоотношениями. Освободители, объединенные патриотическим чувством, не щадившие своих жизней в боях, получили наглядную возможность осознать, что в России на самом деле правил не царь, хотя он и был центральным элементом тиранической системы власти, – в империи правил самовластный деспотизм, ограниченный внутри привилегированного сословия рамками «Табели о рангах» и абсолютно безграничный по отношению к крепостному населению, составлявшему почти 90% всех живших в самой огромной державе мира. Слухи о зверствах помещтных дворян обретали статус достоверных показаний как потерпевших, так и свидетелей преступных деяний крепостников. Многие русские офицеры по возвращении в родовые имения дали вольную своим холопам, наделив их землей. Остальные стали ждать царских реформ – официальной отмены крепостного права в России.

### **Иллюзия равенства с Западом и принесение национальных интересов в жертву «монархическому интернационалу»**

Однако Александр I – освободитель Европы – не захотел войти в историю под именем освободителя собственного народа. Идей,



привезенных армией-победительницей из заграничных походов, царь не принял. Мало того, он сделал все, чтобы искоренить в стране дух Отечественной войны 1812 года:

1) доклады особой комиссии о положении крепостных в России он спрятал за семью печатями так, что до них и по сей день не удастся добраться [5, с. 61];

2) чтобы «в год времени войну забыли» [28, с. 14], он, считавший, что войны «лишь деморализуют войска» и что походы и сражения «испортили» армию [28, с. 9], попытался «дух той великой эпохи втиснуть <...> в гатчинские “неудобьносимые обряды”» [28, с. 11], подвергнуть армию муштре, особенно «фрунтовики». «Идеально марширующий строй уже не удовлетворял – требовались “плывущие стены”» [28, с. 12], чтобы не стыдно «было вывести на Царицын луг» [28, с. 9]. Даже герою войны, победителю Парижа фельдмаршалу Барклаю де Толли «пришлось к концу дней своих “равнять носки”» [28, с. 14]. Александр I добился своего: муштра – эта «тина “мелочей службы”» – поглотила «все время и все силы войск <...>. Нельзя без сердечного сокрушения видеть ужасное уныние измученных ученьем и переделкой амуниции солдат. Нигде не слышно другого звука, кроме ружейных приемов и командных слов, нигде другого разговора, кроме краг, ремней и учебного шага» [28, с. 16]. Мудрено ли, что после этого «презренный столь еще недавно фрак канцеляриста и помещичий халат вдруг обрели всю притягательную силу» [28, с. 14] – все вернулось на круги своя: помещики остались помещиками, крепостные – крепостными;

3) Александр I целью российской политики сделал ставку не на общественно-политические перемены в своей стране, а на «братство монархов», на Священный союз с европейскими странами. В Париже 14 сентября 1815 г. тремя императорами, которые обязались «почитать себя как бы единоземцами», подписали следующий договор:

«Во имя Пресвятой и Нераздельной Троицы Их Величества Император Всероссийский, Император Австрийский и Король Прусский, высочайше внутренне убежденные в том, сколь необходимо взаимные отношения подчинить высоким истинам, внутренним законам Бога Спасителя, объявляют торжественно, что предметом настоящих актов есть открытая перед лицом вселенной их непоколебимая решимость руководиться заповедями сей священной веры, заповедями любви, правды и мира. На сем основываясь: I. Соответствуя словам Священного Писания, повелевающим всем людям быть братьями, договаривающиеся монархи пребывают соединенными узами действительного и неразрывного братства и, почитая себя как бы

единоземцами, они во всяком случае и во всяком месте станут подавать друг другу пособие, подкрепление и помощь; в отношении же их подданных и войск своих, как отцы семейств будут управлять ими в том же духе братства. II. Единое преобладание правителей да будет: приносить друг другу услуги, оказывать взаимно доброту и любовь, почитать всем себя как бы главами единого народа христианского, поелику союзные государи почитают себя аки поставленными от Провидения для управления единого семейства отраслями, исповедуя таким образом, что Самодержец народов христианских не иной подлинный есть, как Тот, Кому собственно принадлежит держава, поелику в Нем Едином обретаются сокровища любви, ведения и премудрости бесконечные» [28, с. 31-32].

Хотя, по словам австрийского министра иностранных дел Меттерниха, этот документ представлял собой «смесь либеральных идей с религиозными и политическими» [28, с. 32], тем не менее к Священному союзу вскоре примкнули и Франция, и Англия: все европейские правительства увидели «в русской крови удобное и вдобавок совершенно бесплатное средство для тушения своих пожаров <...>, превратив Россию в орудие для достижения своих целей», а русского солдата – в «жандарма Европы» [28, с. 32]. Если Петр Великий во внешней политике руководствовался принципом национальной выгоды, не сходилась близко ни с одной из иностранных держав, «благодаря чему при нем русская кровь не проливалась за чужие интересы» [27, с. 21], и немедленно порывал все отношения, когда видел, что союзники «совершенно не платят взаимностью и стремятся в действительности лишь эксплуатировать Россию, загребать жар русскими руками» [27, с. 21, 49-50], то Александр I пренебрег этими принципами своего великого предка. Священный союз поставил русского царя перед необходимостью спасти «своих будущих смертельных врагов. Русская кровь проливалась за всевозможные интересы, кроме русских» [28, с. 35]. В продолжение почти сорока лет – с 1815 вплоть до 1853 г. – Россия не имела собственной внешней политики, принося в жертву свои национальные интересы, свои великодержавные традиции «самому бессмысленному из всех интернационалов – интернационалу монархическому» [28, с. 33]. За это европейские правительства платили Российской Империи тем, что, используя безжалостно дармового «русского жандарма» в своих корыстных целях, отводили от себя «всю ярость своих народов», оправдывая себя перед всем светом якобы вмешательством России во внутреннюю жизнь европейских стран, прекрасно понимая, что «неоправданно

и несправедливо способствуют русофобству» [28, с. 35]. Так, в 1821 г. Россия не защитила в Греции – зоне своих интересов – христианское население, вызывавшее о помощи: на одном лишь острове Хиос было вырезано турецкими башибузуками свыше 90 тысяч христиан. Царь послал войска не в Грецию, а... на усмирение студенческих волнений в Германии. В 1822 г. вспыхнули беспорядки в итальянских владениях Габсбургов – и Россия стала готовить к походу армию Ермолова. В 1830 г. Бельгия и Голландия не могли прийти к единому мнению по вопросу бельгийской независимости – тут же были объявлены сборы для отправки войск в Нидерланды, и т.д., и т.п. [28, с. 33, 34]. Негативную роль в создании одиозной репутации России как «жандарма Европы» сыграли также случаи силового подавления волнений на собственной территории, граничившей с сопредельным зарубежьем. Слухи о мерах расправы с восставшими подданными приводили к тому, что Россию боялись, ее ненавидели. Так было с повстанцами У.Я. Кармелюка из Подолии Правобережной Украины, когда они, начиная с 1813 г., на протяжении более 20 лет систематически громили помещичьи усадьбы, отнимали имущество и раздавали бедным. Число восставших выросло до 20 тысяч и состояло в основном из украинских крепостных крестьян, наемных рабочих, подавшихся в польские земли на заработки, и беглых солдат [11]. Ни Россия, ни свободолубивая Европа, ратовавшая за порядок, не вникали в суть протестных волнений холопов, которых нещадно эксплуатировали «польские паны», причем подневольные терпели тройной гнет – национальный, религиозный и социальный. Но об этом гордая Европа молчала, а в разговоре о России обсуждала лишь одну тему: роль этого «палача» в судьбе народов. Столь недобрая слава о России так широко распространилась, что даже французский историк, социолог, политический деятель Алексис де Токвиль, изучая в 1831 г. государственное устройство США, увековечил славу «русского жандарма» в следующих строках: «В настоящее время в мире существуют два великих народа, которые, несмотря на все свои различия, движутся, как представляется, к единой цели. Это русские и англоамериканцы. <...> Американцы преодолевают природные препятствия, русские сражаются с людьми. Первые противостоят пустыне и варварству, вторые – хорошо вооруженным развитым народам. Американцы одерживают победы с помощью плуга земледельца, а русские – солдатским штыком» [56, с. 296]. Однако

Токвиль указал и самую существенную причину столь разного пути этих двух великих народов: «В Америке в основе деятельности лежит свобода, в России – рабство» [56, с. 296].

### **Военные поселения – «осолдачивание» крестьян**

Если бы не рабство, разве могли бы появиться в России военные поселения по типу прусского ландвера Шарнхорста? Мысль о военных поселениях так завладела Александром I, что ничьи доводы не убеждали его. Военный министр А.А. Аракчеев на коленях молил царя: «Государь, вы образуете стрельцов!». Барклай де Толли и Дибич прогнозировали не повышение боеспособности войск, а расстройство и ослабление армии. Царь был уверен, что поселения дадут прирост «осолдаченного» населения при сокращении расходов на его содержание. В этой уверенности Александр I оставался даже тогда, когда первые попытки «военизировать» крестьян в специальных лагерях закончились гибелью 80% переселенцев, на что император дал отповедь: «Поселения будут устроены, хотя бы пришлось уложить трупами дорогу от Петербурга до Чудова» [28, с. 23], примерно 80 км. Но как обычно – «перенимая пруссачину, мы “перепруссачили”» [28, с. 30]. Прусский ландверман солдатскую службу нес всего 2 месяца в году, а в остальное время крестьянствовал, не отвлекаясь на военную муштру; он жил в отцовском доме так, «как то сам найдет целесообразным». Русские же поселенцы фактически были «приговорены к прижизненным арестантским ротам: с 7 лет – в кантонистах, с 18 лет – в строю, с 45 – в “инвалидах” (так в царской армии называли солдат нестроевых частей – А.Л.)». День военного поселенца был расписан по минутам «до мельчайших подробностей – вплоть до обязательных правил при кормлении грудью детей, мытья полов в определенные часы и приготовления одних и тех же кушаний во всех домах». Нарушителей распорядка и предписаний ждали розги и шпицрутен. Молодых женили и выдавали замуж «по жребию». Обращение с мальчиками-кантонистами, которых отбирали у родителей в батальоны, «было бесчеловечным, и, чтобы задобрить начальство, матери и взрослые сестры кантонистов жертвовали своей женской честью». Мундиры и штиблеты, в которых было невыносимо холодно в лютую северную зиму, шились по прусским образцам и были обязательной одеждой. Офицеры, плохо разбиравшиеся в тонкостях сельскохозяйственного дела, «отводили душу в строевых учениях», которые продолжались от

зари

до зари: на поле работать было некому, а поля без ухода не давали урожай – хозяйство приходило в упадок. «Дома содержались в образцовом, педантичном порядке, но печи на кухнях запрещали топить, дабы частым употреблением не портить оных; дороги поражали благоустройством, но по ним запрещалось ездить; мосты были сколочены на диво, но поселенцам приказывалось объезжать их в брод». Александр I, который самолично инспектировал жизнь и быт поселенцев, «умилялся» их благополучию. Жаловаться было запрещено, а челобитные изымались из царской почты, чтобы не беспокоить «пустяками» государя, хотя поселенцы молили царя вот о чем: «Прибавь нам подати <...>, требуй из каждого дома по сыну на службу, отбери у нас все и выведи нас в степь, мы охотно согласимся, мы и там примемся работать и будем жить счастливо, но не трогай нашей одежды, обычаев отцов наших, не делай нас всех солдатами» [28, с. 24-26, 30].

Военные поселения расформировали только в 1831 г. – уже при Николае I, после зверского бунта, когда свыше 100 человек, в том числе начальник лагерного сбора генерал Леонтьев, были заживо растерзаны, замучены насмерть обезумевшей толпой. Прибывшего на место чрезвычайного происшествия Николая I привела в состояние шока истинная картина жизни поселенных войск. У кого, у кого, а у Николая I, пожалуй, больше, чем у иных, были основания ужаснуться: ведь до этого он был искренне уверен, что в военных поселениях Новгородчины живут точно так же, как и в знаменитом Нью-Ленарке Роберта Оуэна – первом в мире «соцгородке», который будущий царь посетил в 1817 г., а после «заметил свите: в России что-то похожее делает граф Аракчеев» [80, с. 224]. Оказалось, совсем не то и совсем не похоже. «Рассолдачив» крестьян, царь тем не менее жестоко покарал бунтовщиков: «свыше 3000 бунтарей выслано по этапу в Кронштадт <...>, 2500 были прогнаны сквозь строй (150 – насмерть), все были отданы в сибирские и оренбургские батальоны» [28, с. 28].

Хотя и поздно, но царь все-таки принял к сведению то, что крепостное бесчеловечное закабаление больше оставаться безнаказанным не будет. Тут было над чем задуматься, если тысячи людей в одночасье поднялись на «бессмысленный и беспощадный» бунт, мало похожий на обычный протест, который изначально предполагает надежду на улучшение жизни, когда у людей есть еще шансы в соответствии с принципом «либо пан, либо пропал». Но бунт, на который пошли крепостные поселенцы, начался от невыносимых страданий как стихия, как яростный порыв отчаявшихся обреченных, для которых «лучше смерть, нежели зол живот» [13]: здесь уже переступили через страх и перестали на что-либо надеяться – здесь совершали акт возмездия, чтобы, погибая, погубить.

## Начало «вольнодумства»

У власти при столкновении с такой массовой неуправляемостью поневоле возникало предчувствие надвигающейся гигантской беды, катастрофичность последствий которой не шла ни в какое сравнение с гипотетической опасностью дерзкого творчества образованных оппозиционеров, что «бичевали» династию как врагов гражданской свободы: ведь эти дворяне-либералы были крайне малочисленны, занимали в обществе привилегированное положение, исключавшее саму возможность бунта от отчаяния, и к тому же, в отличие от крепостных мужиков, говорили с властью на одном языке – а это оставляло надежду на сотрудничество. Конечно, приятного мало, когда за государевой спиной начнут читать стихи какого-нибудь честолюбивого бастарда, наподобие нестолбового дворянина А.И. Полежаева, плода любви дворовой красавицы Аграфены и помещика Л.Н. Струйского (не сына ли екатерининского поэта Струйского, который любил «запытать до смерти» своих крепостных?) [1, с. 4]. Поскольку вольнодумство стало привычным занятием просвещенного дворянства – и всех не подвергнешь репрессиям, то пусть уж себе упражняются в красноречии на тему о том, что «британский лорд свободой горд», что француз, который «шутя» разрушает трон, на самом деле «пуст, как вздор», а германец, хотя и «смел, но переспел в котле ума», словом, хорошо Европе в Европе, и лишь в одной России «чтут царя и кнут, в ней царь с кнутом, как поп с крестом: он им живет, и ест, и пьет, а русаки, как дураки, разиня рот на весь народ, кричат: “Ура! Нас бить пора! Мы любим кнут!” <...> А без побой вся Русь хоть вой – и упадет, и пропадет» [46, с. 42-44]. В запрещенной поэзии вина за русское рабство довольно часто возлагалась на царя и на холопскую покорность народа. Такая «потаенная» литература воспринималась при дворе Романовых не более чем политическая пощечина, но виселицей не каралась, т.к. сами поэтические вольности не выходили за рамки сборищ тех, кто был и без того слишком далек от масс, способных на бунт, кто был мало понятен народу, но кто сам впадал в экстаз от собственной смелости настолько, что многих «с непривычки мороз по коже продирал» [1, с. 5]. Эти смельчаки, правда, вынуждены были признавать, что в России «и думать нечего проповедывать республику, потому что на подобную проповедь мужики крикнули бы: “режь публику!” – все, что не принадлежит к низшим сословиям» [26, с. 199]: только такие ассоциации вызвало бы у народа созвучие слов – «за республику» и «зарезь публику». Скорее всего именно несовпадение основных социальных интересов прозападно настроенных дворян и мужиков явилось причиной того, что трагедия, разыгравшаяся в военных поселениях в 1831 г. не вызвала тот

общественный резонанс, какой выпал на долю декабрьских событий 1825 г., когда «перед лицом солдат и офицеров, отказавшихся присягать ему, Николай Павлович Романов испытал панический страх, от которого не избавился до конца дней своих» [1, с. 11]. Именно царь – во избежание распространения заразы – повелел судить декабристов «глухим судом» – без свидетелей, а все возмутительные творения «государственных преступников» вынуть из дел и либо сжечь, чтобы они не попали в руки даже писцам следственного комитета, либо вымарать под личную ответственность военного министра Татищева «так густо, что в течение 125 лет их не мог полностью прочесть ни один исследователь» [41, с. 396, 397].

### **Влияние «теневого кабинета» на решения монархов**

Декабрьские события 1825 г. начались с известия о внезапной кончине Александра I и вынужденно создавшейся обстановки междоусобицы. Дело в том, что отказ от престола великого князя Константина Павловича, которого все считали наследником-цесаревичем, держался в тайне с 1822 г., когда Константин, разойдясь с первой женой, принцессой Саксен-Заафельд-Кобургской, вступил в морганатический брак с польской графиней Жанеттой Грудзинской и потерял права на царствование. Скрывавшийся от всех акт отречения цесаревича решено было обнародовать только 14 декабря 1825 г. [15, с. 136], а до этого официального объявления великий князь считался российским императором: «в первых числах декабря, по указу сената, присягнули в Москве императору Константину Павловичу, и целые десять дней все просьбы подавались на его имя и указы писались от его имени» [50, с. 52]. Казалось, что всех все устраивало: присяга Константину не вызвала ни у кого никакой особой реакции. Но когда выяснилось, что на 14 декабря назначена еще одна присяга новому императору Николаю Павловичу и накануне «ночью разосланы были повестки насчет этой присяги», все «были крайне взволнованы» и находились не только «в крайнем смущении», но «и испуге»: военный караул повсеместно почему-то «был утроен и солдаты снабжены патронами» [50, с. 52]. Вскоре на Россию, как снег на голову, свалилась весть о том, что в Петербурге «открыт огромный заговор, что 2-я армия <...> не присягает, идет на Москву и тут хочет провозгласить конституцию. К этому прибавляли, что Ермолов также не присягает и со своими войсками идет с Кавказа на Москву» [50, с. 53].

Вступая в царствование, Николай I понимал, что получил от своего брата «тяжелое наследство»: «гвардия была охвачена брожением, <...> поселенная армия глухо роптала. Общество резко осуждало существовавшие порядки. Крестьянство волновалось. Бумажный рубль стоил 25 копеек серебром...» [28, с. 39]. Наиболее болезненно на все происходившее в стране реагировала самая чуткая часть российского общества – офицерство, все еще продолжавшее смотреть на мир глазами овеванных славой победителей Европы. Николай I признавал, что его царствование станет расплатой за ошибки старшего брата, что новому императору еще и веры не будет, потому что он женат на прусской принцессе. Будучи до восшествия на престол генерал-инспектором армии по инженерной части [15, с. 89], Николай Павлович не по наслышке знал, что люди в погонах были возмущены полным подчинением России Европе, презирали Александра I за подчинение русских интересов утопическим надеждам на паритетное единение с Западом, за любовь к прусским порядкам, к «фрунту». Еще более сурово офицеры оценивали продолжавшееся крепостное состояние тех, кто «под влиянием патриотического подъема Двенадцатого года» [28, с. 36] встал на защиту своего Отечества, освободил его от захватчика и с победами дошел до Парижа. Росло число тех, кто смотрел на крепостное право как на рабство в масштабах целой страны – самой огромной державы мира. Все чаще звучали заявления, что «русское рабовладение можно сравнить лишь с американским, только там угнетались негры, а здесь единоплеменники» [27, с. 141]. Патриотам России осознавать эту истину было вдвойне прискорбно, поскольку в цивилизованном мире уже знали, что в Нью-Йорке с 1788 г. запретили продажу негров, с 4 июля 1799 г. все дети, родившиеся от рабов, признавались специальным указом свободными людьми [56, с. 258], а в России победителей и освободителей всей Европы все еще держали в рабстве! Николай I знал об этих настроениях, но ведал и другое: его брат Александр I в свое время отступил от намечавшихся реформ, потому что «главные люди страны – министры, губернаторы, военачальники, советники, администраторы – <...> 4-5 тысяч человек <...>, число ничтожное, но за каждым – сила, влияние, связи, люди, деньги» [66, с. 106], – были не просто против освобождения крепостных, а угрожающе против, «и пример отца <...>, пример Павла ясно определял характер этой угрозы» [66, с. 107]. Превращение этой незримой оппозиции в организованную



силу подавления воли царя произошло незаметно. Позже публицист-славянофил Ю.Ф. Самарин так охарактеризует эту самоорганизовавшуюся структуру, ставшую главным теневым властителем России: «Эта тупая среда, лишенная всех корней в народе, и в течение веков карабкавшаяся на вершину, начинает храбриться и кривляться перед своей собственной единственной подпоркой... Власть отступает, делает уступку за уступкой без пользы для общества» [67, с. 108-109]. Эта камарилья правит бал до тех пор, пока «народ безмолвствует». А в случае очередной пугачевщины ответ перед миром и историей держать придется тому, кто посажен на трон как «хозяин земли Русской». На роль теневого влияния этого меньшинства на решения монархов, определявших судьбу страны, обратил внимание даже А.С. Пушкин в своих нелегальных заметках по русской истории: «Владельцы душ, сильные своими правами, всеми силами затруднили б или даже вовсе уничтожили способы освобождения людей крепостного состояния». «Закоренелое рабство» в России, по мнению Пушкина, могло быть уничтожено только «страшным потрясением» государственных основ [67, с. 108-109]. Так цари и жили – меж двух огней: пойдешь против сильных людей страны – жди «удавку» [67, с. 107], угодишь им вопреки интересам подданных – не надейся избежать «страшных потрясений». Какой должна быть сила духа, чтобы выстоять? Может, этим и объяснялись странности характера Александра I, о котором говорили, что он часто уходил в мистицизм, во всем жаждал идеального порядка и тишины? Кстати, именно тогда и появилась у придворного окружения нелепая привычка, ставшая потом обязательной нормой при всех дальнейших правителях России, – «во всех решительно ведомствах и отраслях русской государственной жизни сообщать Царям одно лишь приятное» [28, с. 36]. А в тех случаях, когда было невозможно избежать неприятностей, принятые властями решения оказывались, как правило, неадекватными событиям, причем с тенденцией ужесточения предупредительных мер.

Именно так и случилось с Николаем I, который испугался назревавшей, по слухам, стихийной манифестации против обоих царей – скончавшегося и нового, когда гроб с телом Александра I повезут в столицу через Москву: «в Петербурге вздумали, что в “крамольной” Москве предполагается выбросить из гроба тело покойного императора и таскать его по улицам, в знак общего

негодования за назначение Николая Павловича наследником императорского престола. Войска, под предлогом большой торжественности, а в действительности из опасения манифестации, были в усиленных рядах расставлены по обеим сторонам улиц от Серпуховских ворот до Кремля и в самом Кремле и, сверх того, велено было солдатам иметь заряженные ружья. Таким образом церемония грозила превратиться в событие, но таковым оно являлось только Петербургу, а здесь <...> все прошло совершенно спокойно и чинно» [50, с. 54].

Однако Николай I всю оставшуюся жизнь в любом событии или поступке соотечественников видел «следы, последние остатки» [1, с. 10] того, что произошло на Сенатской площади 14 декабря 1825 г., и с этого момента всегда был готов встретить оппозицию жестокими карательными мерами.

### **Декабристы и «культ пяти повешенных»**

Все началось, безусловно, с декабристов, которые были праправнуками тех, кто делал «революцию Петра»: мятежным потомкам хотелось повторить 1700-е годы, и они ощущали себя «коллективным уподоблением» «Петру, подавившему российскую косность сверху» [66, с. 109]. Они намеревались действовать так же, как и их именитый предок: не дожидаясь, пока «неразвитый народ» разберется, где его враги, а где его друзья, взять в свои руки власть, опираясь на вверенные им солдатские массы, которые «в нужный час просто исполнят любой приказ»; и очень хорошо, что «народ не успеет в революцию вмешаться, не сможет “усложнить” ее задачи, умножить пролитую кровь (как это было во Франции, где прямое участие масс привело к жестокому террору в 1793-1794 гг)» – «все дело в решимости офицеров!» [66, с. 110, 111]. А «решимость», между тем, сдерживалась разноголосицей в том, «*что* будет потом, после того, как они поднесут “изумленным массам” великие свободы» [66, с. 111]. П.И. Пестель был уверен, что после победы будет достаточно 10 лет, чтобы «Россией управляло Временное революционное правительство, революционная диктатура, напоминающая якобинскую и обладающая властью не меньшей, чем вчерашняя, императорская. Это правительство, по мысли лидера и теоретика декабризма, осуществит сверху главные преобразования – освобождение крестьян, реформу армии, суда, экономики <...>; лишь после многолетней чистки и вспашки можно будет, по мнению

Пестеля, ввести демократию, конституцию, выборы, народное представительство...» [66, с. 109]. Пестелю возражали: перехватить «вожжи», которыми управляется в России всесильное государство, только на первый взгляд просто. Поставить всю Русь на дыбы не хитро, но «такими ли машинами можно привести в движение столь великую инертную массу? Принятый образ действий <...> никуда не годен, образ действия правительства отличается гораздо большей основательностью. У великих князей в руках дивизии, и им хватило ума, чтобы создать себе креатур <...>. Не говор[я] о их брате (царе), у которого больше сторонников, чем это обыкновенно думают» (Из письма Матвея Муравьева-Апостола к брату Сергею) [66, с. 110]. И дело не только в том, что у правящего дома Романовых для защиты под рукой всегда были наготове боевые дивизии, а для давления на общественное мнение слажено работал хорошо знающий свое дело могучий аппарат – «креатуры», т.е. ставленники царя и великий князей, четко понимающие, кому именно они обязаны своим возвышением. Дело в том, что если «революция будет совершенно военная», если «для избежания кровопролития и удержания порядка народ будет вовсе устранен от участия в перевороте» и «одни военные приведут и утвердят ее (революцию – А.Л.)», то «кто же назначит членов Временного правления? Ужели одни военные люди примут в этом участие? По какому праву, с чьего согласия и одобрения будет оно управлять десять лет целою Россиею? Что составит его силу и какие ограничения представит в том, что один из членов нашего правления, избранный воинством и поддерживаемый штыками, не похитит самовластия?» (Из возражений Борисова 2-го Бестужеву-Рюмину на одном из секретных заседаний осенью 1825 г.) [66, с. 111]. Никита Муравьев, в свою очередь, доказывал, что в сложившейся исторической ситуации целесообразнее всего ставить вопрос не о Временном правительстве диктаторского режима и не о созыве Земского собора сразу же после свержения самовластия, а о сохранении монархии, но монархии конституционной. По мнению Никиты Муравьева, России с ее народом, не доросшим до республиканских идей и подверженным царистским иллюзиям, нужна «умеренная монархия» [66, с. 111].

Декабристы не находили общего языка и по вопросу обустройства российского государства. Поскольку империя была слишком обширна для эффективного централизованного управления и контроля за деятельностью властей провинциальных окраин, то

Никита Муравьев предлагал отказаться от единой государственной структуры и считал целесообразным разделение Великой Руси на 10-12 «держав», взаимодействующих друг с другом на принципах федеративного образования. П.И. Пестель категорически не соглашался с подобными инициативами и в работе «Русская Правда» связывал будущее России исключительно с унитарным правлением. Что касается существовавшей тогда проблемы экстремистских выступлений народов Кавказа, то Пестель считал необходимым положить конец беспорядкам на юге России следующим образом: «разделить народы Кавказа на два разряда на “мирных” и на “буйных”»; «первых оставить в их жилищах и дать им российское правление и устройство, а вторых силою переселить во внутренность России, раздробив их малыми количествами по всем русским волостям» [44, с. 83].

Пестель, «огорченный, утомленный раздорами между заговорщиками и медленным, мучительным ходом тайной работы» [66, с. 108], сделал попытку встретиться с Александром I в Таганроге «и открыться, представить в распоряжение царя несколько сотен активных заговорщиков, за которыми десятки тысяч солдат; хотел предложить свою лояльность, поддержку в обмен на коренные реформы – в общем, те самые, которые давно таятся в бумагах царя» [66, с. 108] и которые блокируются страхом императора перед всемогущей теневой властью «главных людей страны». Но встреча не состоялась, а когда дело дошло до восстания на Сенатской площади, Пестель получил наглядное доказательство того, насколько Никита Муравьев был ближе к практической стороне жизни российской державы, насколько лучше он в ней ориентировался, сделав в своих прогнозах будущего империи поправку на незрелое народное сознание, обремененное царистскими иллюзиями: выяснилось, «что солдат почти невозможно поднять, казалось бы, ясными, им выгодными экономическими и политическими лозунгами. “Долой крепостничество, самодержавие, рекрутчину!”» – они вздрогнули, но не шелохнулись. «Стоило, однако, провозгласить “ура, Константин!” – как полки вышли из казарм» [66, с. 111]. Позже императорская верховная следственная комиссия по делам декабристов выяснила, что суть происшедшего на Сенатской площади настолько была непонятна солдатам, что, когда зазвучало: «Да здравствует Константин, да здравствует конституция!» – площадь ответила громогласным: «Ура!» – потому что «под конституцией кричавшие солдаты разумели, как оказалось впоследствии, супругу Константина Павловича» [58, с. 270].

Николая I не так пугали сами события на Сенатской площади с вызывающим поведением офицеров-повстанцев, неповиновением солдат и демонстративным озлоблением петербургской толпы, «метавшей камень», как те печальные для страны последствия, какие могли бы произойти с Россией в случае удачи этого восстания. Страх перед неслучившимся рисовал в воображении одну картину страшнее другой: обезглавленная, империя «погрузилась бы в хаос, перед которым побледнели бы и ужасы пугачевщины. Вызвав бурю, заговорщики, конечно, уже не смогли бы совладать с нею. Волна двадцати пяти миллионов взбунтовавшихся рабов крепостных (а это только «ревизские души» мужского пола, пригодные к службе в армии, без учета слабосильных, единственных сыновей, самостоятельных дворохозяев и т.д. – А.Л.) и миллиона вышедших из повиновения солдат смела бы всех и все» [28, с. 39]. Если бы общество, сочувствовавшее заговорщикам, знало о вождях восстания то, что выяснилось в ходе расследования дела декабристов, многие тогда пересмотрели бы свое отношение к ним. Пестель, например, запарывал своих солдат, «чтобы научить их ненавидеть начальство», а «князь Трубецкой, организовавший восстание, подставивший товарищей под картечь, а сам спрятавшийся в доме своего зятя, австрийского посла» [28, с. 39], вряд ли сохранил бы симпатию к себе со стороны щепетильного общества, да и простонародье мало симпатизировало трусам и предателям – в России не поняли бы князя.

Очень скоро императору Николаю I стало ясно, что не только не в меру усердные советники потрудились над созданием декабристам ореола мучеников, – пагубным образом действовало и оппозиционное «тенивое» окружение: «заклученным со связями заранее сообщали, о чем их будут спрашивать и что они должны отвечать. 32-летний генерал Лопухин освобожден “за молодостью”, а судившийся по тому же разряду 16-летний мальчик-юнкер отдан в сибирские батальоны» [28, с. 39]. Столь же вопиющей была история кавалергардского ротмистра графа З.Г. Чернышева, знакомого с некоторыми из декабристов, но не участвовавшего ни в их тайном обществе, ни в восстании (его в то время даже не было в Петербурге!). Однако его обвинили в заговоре, и по приговору суда у него были отняты не только военные и дворянские звания, но и земли, унаследованные на правах майората; этот майорат включал в себя почти 9000 десятин земли (из них примерно 7300 десятин общинных и 1700 – барских угодий), более 600 дворов и 2500 ревизских душ; все это имение,

принадлежавшее З.Г. Чернышеву как старшему сыну в семье, было передано... его зятю, тайному советнику И.Г. Кругликову, принимавшему активное участие в работе следственной комиссии по делу декабристов. И хотя Чернышева через год вернули домой, в графском звании восстановили через 30 лет, а свой майорат он так и не получил обратно [75; 76]. Все эти и многие другие несправедливости были поставлены обществом в вину царю-злодею, царю-реакционеру. Такое мнение о новом императоре утвердилось после приговора о казни декабристов, поскольку в России начала XIX в. смертную казнь «считали вполне отмененною» [50, с. 54], так как за все время царствования Александра I не было ни одной публичной смертной казни, и общество не ожидало столь жестокого наказания заговорщиков; тем не менее из 121 участника восстания 36 были приговорены к казни Верховным уголовным судом (Николай I повелел казнить только пятерых приговоренных), а всех остальных осужденных ждала каторга [58, с. 271]. Солдаты пополнили арестантские роты.

На общество известие о казни Рылеева, Муравьева-Апостола, Бестужева-Рюмина, Пестеля и Каховского произвело «потрясающее действие», и «описать или словами передать ужас и уныние, которые овладели всеми, – нет возможности: словно каждый лишился своего отца или брата» [50, с. 54-55]. Решение царя стали называть деспотическим произволом, а Россию образно характеризовали как страну, которая с воцарением Николая I «попятилась и взошла в холодный неприветный коридор, в длинный мрачный туннель» [1, с. 11]. С той поры и пошел особо трагический разлад между властью и обществом. Оказалось, что «на культе пяти повешенных и сотни сосланных в рудники было основано все политическое мирозерцание русских образованных людей» [28, с. 39], значение которых в последующих исторических событиях оказалось непреходящим.

В первой четверти XIX столетия число этой категории населения значительно выросло: потребность в грамотных чиновниках, квалифицированных врачах, педагогах, юристах, инженерно-технических кадрах была велика, а обучать за границей или выписывать из Европы специалистов этих профессий не всегда было доступно, поэтому расширение сети учебных заведений в самой России стало необходимым условием решения кадровой проблемы. К 1825 г. в империи уже функционировали Московский, Санкт-Петербургский, Дерптский, Харьковский, Казанский, Виленский и Варшавский университеты, не считая учительских институтов,

различных курсов, гимназий, закрытых пансионов, лицеев, училищ и т.п. [17]. В результате в самой России появилась возможность удовлетворить спрос на квалифицированные кадры за счет не только дворянского сословия, но и способных молодых людей более низкого происхождения. На фоне безграмотного населения выпускники российских учебных заведений чувствовали себя в своей стране «властителями дум». Малочисленность образованных кадров обеспечивала стойко возраставший спрос на их деятельность. Люди, занимавшиеся умственным трудом, распространением знания и культуры, профессионально связанные как с дворянским сословием, так и с простонародьем, вскоре обнаружили свою общественную значимость: новая социальная группа, ощутив свою «избранность», заявила о себе попытками определить стратегические ориентиры для России в мире идей и знаний, в мире духовной культуры на пути к прогрессу. В печати стали с систематической регулярностью появляться статьи о необходимости объективного подхода в оценках роли кормильца земли Русской, о значении народной массы, «хранившей в своей душе все свойства, выразителями которых были великие святые и юродивые, великие мыслители и поэты, великие писатели и художники, общественные деятели и государственные люди <...>. Вся творческая мысль, двигавшая нашу страну по пути прогресса, там, в этой народной гуще, бессознательно черпала все свое содержание, о могуществе которого сам источник его и не подозревал, и не претендовал на знание, инстинктивно чувствуя, что оно принадлежит не индивиду, а этому колоссальному коллективу, имя которому – народ, или “mip”, как он выражался. Государство, черпавшее из этого беспредельного источника весь свой разум и свою силу, мало заботилось о его охране, об его счастье, даже просто об его жизни» [44, с. 29-30]. Вот почему «нужно, чтобы он (народ – А.Л.) знал свое прошлое, свою славу и свои несчастья; нужно, чтобы он знал свое отечество <...>, участвуя в делах <...> государственных», а иначе государство, «строившееся в течение десяти веков», может развалиться, «как карточный домик», – «не от вражеского удара, а от собственного безумия, от самоистребления людей и всех ценностей материальных и моральных, накопленных сорока поколениями предков, трудом их и лишениями» [44, с. 32].

В один ряд с новыми образованными людьми встала та часть просвещенного дворянства, которая не хотела мириться с действительностью крепостнического строя, опиравшегося на военную и чиновную бюрократию и требовавшего слепого и беспрекословного

подчинения. Оппозиционные настроения питались тем, что в стране «исправно работал репрессивный аппарат III Отделения, малейший ропот народа бестрепетно заглушался <...>, ввели новые запреты на поездки за границу <...>. Николай I был одушевлен идеей порядка, он насадил и распространил его по всем пределам Российской империи» [62, с. 6]. А порядок этот оказался странным: «он состоит из злоупотреблений, беспорядков, всяческих нарушений закона, наконец сплотившихся в систему, которая достигла такой прочности и своего рода правильности, что может держаться так, как в других местах держатся порядок, закон и правда» [62, с. 6-7]. Расхождение между словом и делом бросалось в глаза мыслящим современникам, побуждало их зорче всматриваться в действительность, не оставлять без внимания случаи государственного воровства, злоупотреблений и безнаказанности тех, кто по-прежнему держался за принципы закоренелых крепостников. Желание дистанцироваться от всего «темного и притеснительного» привело к тому, что в 1830-х гг. создался общественный слой людей, профессионально занимавшихся умственным трудом и идеологией движения русского общества к прогрессу. Очень скоро эта категория мыслящих людей, занятых поисками того общественного идеала, который стал бы ответом на злобу дня, оказалась в центре внимания и стала оцениваться как передовая часть общества, названная позднее русской интеллигенцией. Сам термин «интеллигент» вошел в обиход с легкой руки писателя П.Д. Боборыкина позже – в 1860-е гг. [2, с. 311]. Главным оппонентом русской интеллигенции оставался закоренелый крепостник, так называемый «самодур старого типа», «взращенный крепостным правом и богатством и очень мало смягченный образованием», русский дикарь, «устоявший перед всеми влияниями цивилизации» [44, с. 140, 141]. На каком бы посту такой самодур ни стоял, он неизменно становился объектом критики.

### **Западники и славянофилы. «Отсутствие всякого государственного смысла в обществе»**

Русская интеллигенция, выделившись в особый слой, сама была неоднородна по убеждениям. «В спорах и беседах <...> были в ходу понятия “западные”, “западники”, “европеисты”, “нововеры” и противоположные им – “восточные”, “восточники”, “славянисты”, “староверы”» [62, с. 8]: «не очень точны были прозвища, взаимнодаваемые обеими партиями друг другу в виде эпитетов: московской и петербургской или славянофильской и западной, –



но <...> эти прозвища <...> сделались общеупотребительными» [62, с. 9], а сами споры «были слышны далеко» [62, с. 9] за пределами Москвы и Петербурга.

Дискуссии не всегда носили корректный характер: в полемическом задоре для усиления эффекта неправоты оппонентов противники допускали утрированное искажение точки зрения конкурента, не взирая на то, что суть мысли при этом менялась кардинально, страсти накалялись, потому что спор переходил в совершенно иную плоскость – не только идейную, но и этическую, когда полемисты не стеснялись в выборе эпитетов и метафор. Например, славянофилы доказывали, что в России именно с Петра Великого «началось <...> темное противодействие иностранному влиянию» [62, с. 9], потому что «оскорбленное народное чувство» не могло этому влиянию не сопротивляться, а противодействие это в народе началось со времени «обрития первой бороды Петром I» [62 с. 9, 10] и насаждения иноземных норм в быту [26, с. 201]. А в интерпретации западников эти мысли получили такую обобщенную формулировку: «Реформа Петра убила в России народность и всякий дух жизни» [62, с. 28]. Если славянофилы утверждали, что «Россия – не Европа», опасность для нее «одна: *если она перестанет быть Россиею*» [62, с. 11], то западники начинали немедленно перетолковывали это таким образом: «Россия для своего спасения должна обратиться к нравам Кошихина (публициста начала XVIII в., активно осуждавшего петровские реформы и идеализировавшего Московскую Русь XVII в. – А.Л.) или Гостомысла (легендарного новгородского старейшины IX в., призвавшего на княжение Рюрика – А.Л.)» [62, с. 28].

Зародившееся в 40-х – 50-х гг. XIX в. движение-соперничество «западников» и «славянофилов» на самом деле породило не спор двух литературных групп, как это казалось непосвященному зрителю, а взаимодействие и борьбу *трех* направлений общественной мысли – демократического, либерального и консервативного. Биограф П.Я. Чаадаева Михаил Жихарев называл спор западников и славянофилов столкновением «пустого с порожним» [62, с. 9], ибо они закрывали глаза «на общность цели, к которой они стремились с разных сторон» – к изменению самодержавного строя. Разница состояла в том, что «славяне» «давали самое ничтожное участие в развитии государства пришлым, иноплеменным элементам, за исключением византийского, и во многих случаях смотрели на них как на несчастье, помешавшее народу выразить вполне свою духовную сущность. “Европейцы”, наоборот, приписывали вмешательству посторонних национальностей

большое участие <...> в определении всего хода <...> истории и даже думали, что этнографические элементы, внесенные чуждыми национальностями, и устроили то, что называется теперь народной русской физиономией» [62, с. 15]. Единственными, кого полностью устраивал такой характер дискуссии, были консерваторы: пока внимание образованных людей оказывалось полностью поглощено «делами давно минувших дней» и «преданьями старины глубокой», можно было не опасаться за неизменность социально-политического устройства Российской Империи.

Однако отношение славянофилов и западников друг к другу, а также образованного общества к обеим этим группировкам было неоднозначным, потому что многие считали, что никакой противоположности в их учениях нет, поскольку у них и самого-то учения не было. К западникам, например, относили себя люди «с весьма разнообразными убеждениями: искренно православные и отвергавшие всякую религию, приверженцы метафизики и последователи опыта, социал-демократы и умеренные либералы, поклонники государства и защитники чистого индивидуализма» [51, с. 156]. Всех их объединяло преклонение перед наукой и просвещением и пренебрежительное отношение к «дикости», «лапотности» и невежественному скудоумию, бытовавшим в России. Сближение с Западом они относили к числу счастливых подарков русской истории. Издержки этого события в жизни страны были связаны с тем, что наш «младенческий народ» пока еще усвоил только внешние формы европейской цивилизации, отнесясь «с большим легкомыслием» к тому, что составляло ее суть, поэтому задача, которую следовало решать России, должна была бы заключаться «в более глубоком понимании и усвоении плодов просвещения, а никак не в возвращении к отжившей старине» [51, с. 156]. Западники старались доказать, что славянофилы – это «настоящая секта», в основе идеологии которой хотя и лежали «возвышенные и верные начала: глубокое нравственно-религиозное чувство и пламенный патриотизм», но все это «искажалось преувеличением, узостью и исключительностью» [51, с. 156]. Эти искажения русское образованное общество объясняло тем, что «славянофильское учение было произведением досужих московских бар, дилетантов в науке, которые думали упорный труд и зрелую мысль заменить виртуозностью и умственной гимнастикой, создавая себе привилегированное умственное положение с помощью салонных разговоров и журнальных статей» [51, с. 157].

Подтекстом столкновений западников и славянофилов было соперничество за влияние на неподготовленные умы в обществе. Западники считали, что славянофилы ослепляли «блеском софистики» и увлекали «обаянием ходульного патриотизма» несмышленишей, но никакого самосознания в русском обществе пробудить не могли, хотя все свои утверждения сводили к тому, что «развитие Запада закончило свой круговорот и дало из себя все, что могло дать», а теперь пришло время уступить знамя лидера в мировом историческом процессе России, способной создать новую, высшую цивилизацию, так как только в этой стране можно найти «новые, живые силы». Эти силы коренятся исключительно в русском православном народе: поскольку «высшие классы оторвались от родной почвы и примкнули к низшей, западной цивилизации», тлетворно повлиявшей на них, то опираться следует лишь на русского мужика, который крепко держится «своих собственных начал» [51 с. 156]. Традиция создала свой быт, этические нормы и одежду, соответствовавшие условиям жизни и природно-климатическим особенностям, и учиться жить надо было именно у собственного народа – хранителя многовековой мудрости. Западникам в славянофильской теории все казалось смешным, а последователи этой идеологии воспринимались не иначе, как «ряженные». И власть на славянофилов взирала, как на расшалившихся не в меру детей, но, реагируя на непривычный внешний облик интеллигента, и сама попадала в нелепое положение. Например, вот какие истории произошли с семейством Аксаковых – пожалуй, наиболее известных и активных идеологов и пропагандистов славянофильства. И.С. Аксаков, вызвавший подозрение жандармов, на всякий случай был арестован 18 марта 1849 г., а через 4 дня отпущен. Оказалось, в III Отделении ему были предложены вопросные пункты, на которые он дал обстоятельные ответы. По прочтении их Николай I, возвращая бумаги графу А.Ф. Орлову, написал на ней такую резолюцию: «Призови, прочти, вразуми и отпусти» [51, с. 242]. Полиция была особо бдительна в отношении «господ», которые «не так» выглядели, что рассматривалось как проявление оппозиционности в опасный период западноевропейских революционных событий 30-х – 40-х гг. XIX в. «Результатом явился изданный 12 апреля [1849 г.] министром внутренних дел Л.А. Перовским циркуляр к губернским предводителям дворянства, запрещающий дворянам ношение бороды

и усов, которые осуждались “как страсть подражания западным привычкам... западным затеям”. С К.С. Аксакова была взята персональная расписка в том, что он обязуется строго исполнять предписание циркуляра и не носить национальной русской одежды. Что касается С.Т. Аксакова, то ему, ввиду возраста и обещания безвыездно жить в деревне, не появляясь в обществе, было разрешено оставить бороду и русскую одежду, и он до конца жизни носил зипун» [51, с. 242].

Может быть, именно «мишурное» [51, с. 162] проявление славянофильского учения добавляло сердитой иронии в критических выступлениях западников, который своих идейных оппонентов считали людьми скудоумными, что вызывало ответную озлобленность. Эмоциональный накал продолжал подталкивать соперников сначала к перебранке, а потом и к ссоре. Рецензент «Отечественных Записок» Галахов так писал об этом: «Сознаюсь откровенно, что я, как слабейший, желая насколько возможно уравнивать шансы успеха, позволял себе в защите прибегнуть к различным средствам, между прочим к иронии и насмешке <...>. Если недоставало у меня пороха, я бросал в противника песком и пылью, чтобы хоть несколько отуманить его» [62, с. 26]. Западников открыто называли деятелями «коммерческой литературы», «борзописцами», «извергающими хулу», у которых «литая броня наглости прикрывает <...> самое невинное невежество» [62, с. 26]. Славянофилов общественное мнение относило к «холопам» графа С.С. Уварова [62, с. 24]. Пожалуй, этим можно объяснить то, почему так зло набрасывались западники на славянофилов, усматривая в их «бреднях» [62, с. 28] прямое соответствие «уваровской триаде». В.Г. Белинский в письме Кетчеру сообщал: «Литература наша <...> делается до того православною, что пахнет мощами и отзывается пономарским звоном, до того самодержавною, что состоит из одних доносов, до того народною, что не выражается иначе, как по-матерну. Уваров торжествует» [62, с. 24]. Дело в том, что выразитель идеологии николаевского режима граф С.С. Уваров провозгласил следующие принципы общественно-политической жизни России: «Тремя коренными чувствами крепка наша Русь, и верно ее будущее... Это древнее чувство религиозное, чувство ее государственного единства и сознание своей народности» [62, с. 23]. Советник монарха противопоставлял Россию «гниющей» Франции с ее «развратом личной свободы», Германии, невидимый недуг которой – «разврат мысли» [62, с. 23]. Только одна Россия могла бы

гордиться «гармонией своего бытия», которая Уварову виделась основой идеального общества, «где господствуют не личные достоинства и не рациональное его строение, а иерархия, когда управляют те немногие, кому доступно искусство управления» [60, с. 154]. Русскую интеллигенцию, особенно западников, приводил в бешенство тот факт, что превосходно образованный Уваров, который с 1818 г. возглавлял Российскую Академию наук, а с 1833 г. был министром просвещения, не стремился следовать собственным принципам, и его слова диаметрально расходились с внутренними убеждениями, выработанными на основе европейской культуры: «он проповедовал православие, будучи атеистом, самодержавие – будучи либералом, проповедовал народность, хотя, как говорили, он не прочитал ни одной русской книги за свою жизнь, а писал только по-французски и по-немецки» [60, с. 155]. Сам переписывался с Гете, Шиллером, бароном Штейном, братьями Гумбольдтами, а соотечественникам внушал, что надо «быть русскими по духу, прежде чем стараться стать европейцами по образованию» [60, с. 155].

Западники в этом внушении находили созвучие с программными заявлениями А.С. Хомякова, который пытался определить суть спора славянофилов с «европеистами»: «Одно дело: советовать, чтобы корней не отрубить от дерева и чтобы залечить неосторожно сделанные нарубы, и другое дело: советовать оставить только корни и, так сказать, снова вколотить дерево в землю» [62, с. 14]. Западники не понимали преимуществ отсталой «лапотной Руси» перед просвещенной богатой Европой: «Если старое было лучше теперешнего, из этого еще не следует, чтобы оно было лучше теперь» [62, с. 11], когда решается вопрос обустройства будущей жизни огромной империи. «Нам нечего бояться утратить своей национальности: наша религия, наши исторические воспоминания, наше географическое положение, вся совокупность нашего быта столь отличны от остальной Европы, что нам физически невозможно сделаться ни англичанами, ни немцами. Но до сих пор национальность наша была национальность необразованная, грубая, китайски-неподвижная. Просветить ее, возвысить, дать ей жизнь может только влияние чужеземное; и как до сих пор все просвещение наше заимствовано извне, так только извне можем мы заимствовать его и теперь» [16, с. 108-109] – писал в 1832 г. журнал И.В. Киреевского «Европеец», рассчитывавший победно влиять на широкое общественное мнение. Однако в письмах друг другу

звучали иные мотивы, не выносимые на суд общества. В письме П.В. Анненкову В.П. Боткин признавал то, что именно «славянофилы выговорили одно истинное слово: народность, национальность. В этом их великая заслуга; они первые почувствовали, что наш космополитизм ведет нас только к пустомыслию и пустословию» [62, с. 15]. «Перелом русской мысли» (выражение А.И. Герцена) [62, с. 15] наступил именно тогда, когда русский общественник, наслушавшись от одних, «что Россия гниет», от других – что «Запад околеваает», по выражению М.Н. Каткова [62, с. 18], стал сам изучать российскую действительность, оценивать «конкретную объективность», а не бросаться «вниз головою в “немецкое море”», долженствовавшее очистить и возродить» [62, с. 15], и не принимать как призыв к действию лозунги соперничающих интеллигентов, как это было, например, тогда, когда К.С. Аксаков громогласно провозгласил: «Да здравствует каждая народность!» Идея свободного развития всех наций в России бездумно была подхвачена русской общественностью и сделалась предметом дискуссионных «исследований», настолько масштабных, что появилась даже теория – «русская народность не одна, а три: великорусская, белорусская и южно-русская. При тогдашней горячности молодежи и при отсутствии всякого государственного смысла в обществе, немедленно явилось заключение <...> в высшей степени неприложимое к делу, что: так как нас три народности, – то пусть также будут три государства, каждое со своим языком, законами, войском. Эти три государства могут составлять один общий союз, а если им не понравится, – то каждое может жить по себе. – Новая выдумка, при русской последовательности, пошла дальше: Сибирь по себе, Кавказ по себе, Новгородские земли по себе, бывшее Великое Княжество Рязанское, Казань, Астрахань, Владимир, Пермь по себе, – словом, вся Россия должна распасться на исторические группы, с полной автономией каждой, с правом выхода из общего союза, когда угодно. Теория эта была так увлекательна» [26, с. 248], что русские общественники фантазировали и дальше «от всей души. В самом деле, устройся Россия в такую федерацию, уничтожь Турцию и Австрию, – все государства Европы исчезли бы мигом <...>, вся Европа стала бы одной федерацией естественных групп, которым уже нечего было бы резаться из-за границ <...>, войско становилось лишним, вместе с таможнями, паспортами, консульствами и проч., и проч.» [26, с. 248].

Радость наполняла сердца мечтателей – и все было бы хорошо, да дело испортили поляки: покуда в России «сочиняли» и обсуждали теорию в кружках, «поляки решились привести ее в исполнение <...>, они уже начали верить в искренность нашего либерализма <...> и сильно заразились нашим оппозиционным духом» [26, с. 249]. Русские общественники не учли в своей теории самого главного – того, что все их «революционерствование» было на словах, а поляки «взросли на преданиях» о битве за свою независимость: «редко у кого в родстве нет ссыльного или эмигранта. Мы готовили себя в философы, – поляки в деятели. Мы были болтливы, как дети, – поляк каждый умеет молчать. Для нас фраза шибкая да идея новая – величайшее удовольствие <...>, а у поляка вся мысль сосредоточена на восстановлении Польши в границах 1772 года. Это завет отцов его; этому мать, на смертном одре, заклала его служить; за это его *kochanka* (возлюбленная – А.Л.) руку ему отдаст; – и, покуда мы собирались делать, он уже принялся за работу» [26, с. 249].

Только «первая свалка в Варшаве» [26, с. 249] образумила русскую общественность: лишь теперь пропагандисты теории о свободной российской федерации поняли, что идеи на деле малопривлекательны и влекут за собой потоки крови, что задача интеллигенции не в умствованиях, а в реальной помощи тем, кого в просвещенный век держали на положении рабов, что между конфликтующими партиями, занимавшимися до сих пор «сшибкой умов», таилась «одна связь, одна примиряющая мысль, более чем достаточная для того, чтобы открыть им глаза на общность цели, к которой они стремились с разных сторон... Связь заключалась в одинаковом сочувствии к поработанному классу русских людей и в одинаковом стремлении к упразднению строя жизни, допускавшего это порабощение или даже именно на нем и основанного» [62, с. 15]. При ближайшем рассмотрении оказалось, что истязания крепостных в таком виде, как это было выявлено особой комиссией во времена Александра I, в 30-х – 40-х гг XIX в. встречались не так часто, но жизнь крепостного лучше не стала, потому что проявлений самоуправства и жестокости было предостаточно, чтобы судить насколько плохо жилось главному кормильцу страны в рабах у «господ». Дворяне в подавляющем большинстве по-прежнему не занимались хозяйством. Даже у князя Долгорукова имение пребывало «в крайнем беспорядке», дела «запутаны», «господской запашки не было», «скотоводчество <...> ничтожное», «лес

вырубался зря, и кража леса считалась промыслом почти дозволенным». Неудивительно, что такое имение «доход не дает, а <...> высасывает последние деньги» [50, с. 76, 77]. Но были и такие помещики, которые попадали в разряд мелкопоместных: их в уездах было много, и они «сами почти умирали с голоду», жили в бедности и невежестве. «Весьма многие из них, получая пособия, не могли сами в том расписаться за неимением грамоты». Крестьяне у таких хозяев влачили жалкое существование: «они ели мякину и желуди с прибавкою  $\frac{1}{3}$  или  $\frac{1}{4}$  ржаной муки» [50, с. 79]. Поражало одно обстоятельство: и богатый помещик, и бедный одинаково дурно относились к крепостным. Предводитель дворянства Сапожковского уезда А.И. Кошелев вспоминал об одном из своих предшественников на этом посту – 70-летнем «С.И.Ш», который «засекал до смерти людей, зарывал их у себя в саду и подавал объявления о том, что такой-то от него бежал» [50, с. 79]. А вот «майор Ч.», который «как старый военный служака, особенно любил военную выправку, и у него крестьяне и дворовые люди являлись все с солдатскими манерами. Жаловаться на помещика никто не смел, а житье людям было ужасное. Так, при земляных работах, чтобы работники не могли ложиться для отдыха, Ч-ов надевал на них особого устройства рогатки, в которых они работали. За неисправности сажал людей в башню и кормил их селедками, не давая им при этом пить. Если кто из людей бежал, то пойманного приковывал цепью к столбу» [50, с. 81]. Когда ему указывали на необходимость «изменить образ управления крестьянами», он изумлялся: «гуманность» он считал «источником всяких беспорядков и бедствий», склонением «к возмущению крепостных людей». Конец его мог быть страшным: кучер завез парализованного майора Ч. в зимнюю стужу в лес на санях и со словами: «Жить у вас больше мне не вмоготу», – повесился на глазах у мучителя, который по беспомощности своей вполне мог замерзнуть, «да лошадь сама привезла его домой» [50, с. 81]. Все эти и многие другие факты скрывались по той простой причине, что в России не только среди крепостного крестьянства существовала круговая порука – помещики жили по тому же принципу и не стеснялись озвучивать свою позицию: «Если я увижу, что мой брат дворянин зарезал человека, то и тут пойду под присягу, что ничего о том не знаю» [50, с. 82]. Может быть, именно поэтому «указ об обязанных крестьянах <...> остался мертвою буквою» [50, с. 59].



Этот указ носил, правда, рекомендательный характер, поскольку не обязывал, а позволял помещикам наделять крестьян участками земли за оговоренные по соглашению повинности [50, с. 215]. Дворяне, будто сговорившись, в один голос утверждали, что освобождение крестьян от крепостной зависимости приведет страну к «беспорядкам и даже резне». Однако находились и такие, которые опровергали эти прогнозы: если освобождение пройдет без нарушения прав сторон и без разорения одних в пользу других, то никаких бедствий не будет – надо предоставить «людям свободы <...>, чтобы люди у нас ее не выхватили» [50, с. 223]. На Николая I давили со всех сторон: интеллигенция славянофильская и западническая, крепостные со своими челобитными (на которые общественное мнение реагировало сочувственно), новости из Америки о начавшемся движении за полное освобождение негров от рабства, пересуды за границей о сходстве русского рабства крепостного с американским плантационным; даже в Пруссии, которая не без оснований считалась оплотом европейской консервативной реакции, король Фридрих-Вильгельм IV уступил требованиям времени и даровал своим соотечественникам в 1850 г. конституцию, отменившую в том числе и такой пережиток феодализма, как прикрепление крестьян к поместьям [51, с. 216]. А тут еще одна за одной выходят книги иностранцев о посещениях России. Маркиз Астольф де Кюстин, побывавший в России в 1839 г, задавался вопросом: «Долго ли будет Провидение держать под гнетом этот народ, цвет человеческой расы? Когда пробьет для него час освобождения?» [31, с. 622]. Путешественник пытался найти ответ: «Характер ли русского народа создал таких властителей или же такие властители выработали характер русского народа <...>. Да, можно сказать, что весь русский народ, от мала до велика, опьянен своим рабством до потери сознания» [31, с. 430]. ]. Президент Лондонского геологического общества Р. Мэрчисон увидел в России «потрясающий народ», однако повсеместная коррупция, предрассудки и всеобщая апатия мешали стране и народу занять достойное место в цивилизованном мире [60, с. 149]. Крымская война высветила тщательно скрываемые слабости страны: все тайное стало явным – и некомпетентность управления, и тирания власти, и техническая отсталость, а также вопиющая нищета и депрессивная подавленность масс проявились со всей очевидностью. Нужны были серьезные перемены, а Николай I при всей своей безграничной власти *так и не подступился к ним*. Хотя он и чувствовал, что Россия

больше не может оставаться при «необузданном помещичьем праве <...>, но русского дворянства он опасался» [51, с. 112]. Александр II принял империю от отца в состоянии той «внутренней порчи», которая делала все государственное здание «гнилым»: «всякий независимый голос умолк; университеты были скручены; печать была подавлена; о просвещении никто уже не думал. В официальных кружках водворилось безграничное раболепство, а внизу накопала затаенная злоба. Все, по-видимому, повиновалось беспрекословно <...>. Администрация оказалась никуда не годною, казнокрадство было повсеместное. Положиться было не на кого; везде царствовала неспособность. Даже армия, любимое детище царя, лишена была самых необходимых для действия орудий, и все доблести русского солдата тратились напрасно в неравной борьбе <...>. *Все было устремлено на одну внешность, а о существе дела никто не заботился* (курсив мой – А.Л.) <...>. Враг вступил на русскую землю, осаждал первоклассную крепость; знаменитый черноморский флот погиб; все попытки отразить неприятеля кончились поражениями. Николай этого не вынес. Он разом свалился, и с ним вместе рухнул и весь державшийся им строй. Для России наступила новая пора, которая вслед за радужными надеждами должна была принести свои скорби и разочарования» [51, с. 112].

### **Подготовка реформы 1861 года**

Коронация Александра II состоялась 26 августа 1856 г., а за полгода до этого события наследник Николая I развил бурную деятельность по зондированию почвы для проведения реформ. Александр II начал с перемещений в верхнем эшелоне власти сразу после смерти Николая I: в феврале 1855 г. «был уволен от всех должностей князь А.С. Меншиков, проявивший полную несостоятельность на посту главнокомандующего русскими сухопутными и морскими силами в Крыму; князь М.Д. Горчаков был назначен главнокомандующим Крымскою армиею; великий князь, генерал-лейтенант Константин Николаевич – главным начальником флота и морского ведомства. В августе министр внутренних дел Д.Г. Бибииков был заменен С.С. Ланским. 15 октября получил отставку <...> любимец Николая I главноуправляющий путями сообщения П.А. Клейнмихель» [51, с. 230]. Сановная аристократия замерла в предчувствии беды для себя: царь действовал по своей воле, не считаясь со знатью.

30 марта он встретился в Москве с предводителями дворянства, где пояснил свою позицию так: «В быте крепостных людей необходимо сделать изменения и <...> желательно провести их сверху, прежде чем они потребуются снизу» [50, с. 99]. Реакция дворянства была мгновенной: одни доказывали, что освобождение крепостных вызовет в стране бунт, другие утверждали, что не освобождение, а промедление в осуществлении крестьянской реформы приведет «к беспорядкам и даже резне» [50, с. 223]. Александр II, изучая мнение той и другой стороны, продолжал подготовку к реформе: 3 января 1857 г. учредил Секретный комитет по крестьянскому делу, который только в 1858 г. получил полномочия и был переименован в Главный комитет. В ноябре 1857 г. царь заготовил рескрипт на имя виленского генерал-губернатора В.И. Назимова. Этот документ содержал в себе правительственную программу отмены крепостного права, которая предоставляла личную свободу крестьянскому сословию, но всю землю оставляла в руках помещиков: землю в пользование мужик должен был выкупить у своих вчерашних господ [51, с. 223]. Но даже в таком виде программа не устраивала многих помещиков. «Рассказывали, что в Петербурге, в высшей администрации, была сильная борьба против опубликования рескрипта к виленскому генерал-губернатору, и в особенности против официальной рассылки этого документа к губернаторам <...>. Во главе оппозиции стоял председатель Государственного совета кн. Орлов, и он решился всем авторитетом своего звания и своей опытности подействовать на молодого императора» [50, с. 100]. Князь Орлов долго убеждал Александра II «самым сильным и настойчивым образом», чуть ли не на коленях умоляя государя «не открывать эру революции, которая приведет к резне, – к тому, что дворянство лишится всякого значения, и быть может, и самой жизни, а его величество утратит и престол» [50, с. 100]. Председателю Госсовета показалось, что он в достаточной мере сумел «потрясти» царя, от которого уходил «с довольной улыбкой» в полной уверенности, что «рескрипт не будет опубликован». Однако «еще не успел кн. Орлов отъехать от дворца, как доклад министра внутренних дел об обнародовании рескрипта был уже государем утвержден <...>. На следующий день этот рескрипт появился в официальной газете» [50, с. 100]. В этом документе первоначальная правительственная программа освобождения крестьян выглядела так: немедленное безвозмездное личное освобождение

и предоставление освобожденным крепостным права выкупить в собственность те усадьбы, в которых они жили, и пользоваться полевыми наделами, на которых они уже много лет трудились, но пользоваться не бесплатно, а за повинности до времени полного выкупа усадьбы. Губернские помещики нечерноземной полосы сразу высказали протест. Одни настаивали: их крестьяне столь бедны, что взять с них будет нечего – ни выкупа, ни налогов заплатить их не заставит ни одна полиция, и крестьяне покинут места проживания в поисках иного заработка, а помещики могут «остаться без рабочих рук» [44, с. 86] – и опасность эта была чрезвычайно велика. Другие требовали, чтобы правительство включило в программу еще и «выкуп крестьянами в собственность полевых наделов, с согласия помещиков» [44, с. 24]. При возникновении такой неразберихи во мнениях в среде крепостников по распоряжению царя были учреждены так называемые губернские комитеты («комитеты по улучшению быта крестьян»), которые оказывали помощь специально созданным Редакционным комиссиям [19; 20]. Весьма любопытно познакомиться с характеристиками лиц, которые входили в состав одного из таких комитетов. Автор этого документа, А.И. Кошелев, безусловно, мог быть пристрастным, но он адресовал свои впечатления не кому-нибудь, а члену Редакционной комиссии Ю.Ф. Самарину:

«Весьма по секрету. Вот характеристика Рязанского комитета:

1. Губернский предводитель *Селиванов*. Был не глуп, теперь растерялся и стал полным дураком. Трус жестокий. Желал бы быть с нами по долгу звания, но по душе с противниками нашими. Подличает перед всеми и не угрожает никому, пользуясь полным презрением всех сторон. 2. *Реткин* (Рязанский уездный предводитель), он же и вице-президент. Дурак круглый, скот дерзкий. Говорит, что прикажет ему голова партии г. Офросимов. 3. *Приклонский* – отставной гусар, животное бессловесное. 4. *Лихарев* (Зарайский). Интриган жестокий, умен, дерзок, адъютант главы партии. 5. *Злобин*, человек неглупый, не зависимый от партии и подающий голос по личному убеждению, чуждаясь всяких советов. 6. *Офросимов* (Пронский) – глава партии, очень умный человек, хорошо говорит и пишет, чрезвычайно находчив. Никогда не горячится: очень умен в словах. Добивается губернского предводительства и хочет отстоять права дворянства. Покривить душою в пользу благородного дворянства ничего не значит, напротив, это заслуга, долг дворянина. С ним я всего более спорю, и мы вовсе не в дурных отношениях; да он и со всеми в ладах. 7. *Генерал Муратов* – бессловесное животное. 8 и 9. *Ключарев и Арсеньев* (Рязские). – Их девиз: нельзя ли крепостное право так отменить, чтобы все обязанности свалить, а все права увековечить. Оба неглупы и стойко борются... 14 и 15. *Князь Волконский и Сафонов* (Ранненбургские). Первый полусумасшедший, высеченный своими дворовыми людьми за распутство; выдает себя за либерала и баллотирует по внушению свыше,

то с нами, то с противниками. Кто за ним ухаживает, тех он надувает, ибо хочет быть самостоятельным. Говорит, читает и пишет много. Очень занят собою. Аристократ-либерал. Сафонов находится под его указом. 16. *Рикман*. Животное безусловное. 17. *Афанасьев* – дурак, говорун, писака, человек дерзкий... <...> 24. *Голубцов* (Михайловский) либерал, человек хитрый, помози Боже и нашим и вашим; подает голос с нами, но отнюдь не идет явно и против большинства; старается и с нами остаться и тем угодить. 25. *Сухотин*, израненный, полковник, очень хороший человек, все бьет себя по груди и говорит, что он ни за что своего дворянского достоинства не продаст. 26. *Маслов* (от правительства) хотел быть либералом, да его противная партия пугнула, а теперь, чтобы не быть ни с нами, ни с ними, постоянно разъезжает то в Москву, то в деревню. 27. Я» [50, с. 224].

Естественно, что подобные организации просто не могли действовать в интересах крестьянства. Что же касается Редакционных комиссий, то они при выработке программы руководствовались принципом: «Мы столько стоим за предоставление людям свободы, сколько против того, чтобы люди у нас ее выхватили» [50, с. 223]. **Что именно** в этих условиях ожидало крестьян, догадаться нетрудно.

### Результаты реформы

Александр II вскоре понял, какое он разворошил осиное гнездо: проведение реформ с предоставлением условий для обеспечения достойной жизни освободившимся крестьянам больше всего ударяло по самым крупным крепостникам – собственникам огромных земельных владений и бесчисленного числа ревизских душ. Эти господа, привыкшие считать себя главными людьми, никак не могли примириться с самоуправством императора, с угрозой огромных материальных потерь, и Александру II пришлось пойти на уступки, превратившие реформу в полумеры. Крепостники провели реформу по своим правилам: крестьянам предоставили право выкупать за счет правительственного кредита не только их хибары-усадыбы у помещиков, но и земельный надел – однако надел был такой, что обеспечивал не выживание землепашцу, не развитие его хозяйства, а «исправное отбывание крестьянством государственных повинностей» [44, с. 24]. Повинности оказались такими: «оброки за пользование наделом или выкупные платежи в казну с добавочной приплатой в пользу помещиков <...>, подушная подать, государственный земский сбор, губернские и уездные земские сборы <...>, мирские повинности <...>, общая сумма всех уплачиваемых ими сборов превосходит чистый доход, получаемый ими с наделов» [52, с. 38]. При этом

оказалось, что платежи с каждым годом не уменьшались, а прогрессивно возрастали, и труд на земле становился бессмысленным. Однако по положению об освобождении суды не позволяли крестьянам избавиться от оброка, соединенного с обязательным наделом, да еще и грозили: «Мы тебя заставим платить, будем пороть!» [52, с. 38]. Крестьянин, хотя и упрямылся: «Не заставьте ничем, брошу двор и уйду, куда глаза глядят, а пахать этой нивы не стану!» [52, с. 38], – но прижатый к стенке сборщиками податей, вынужден был отдавать долг сполна, и «сколько бы крестьянин не суживал свои потребности, как бы ни был он трезв и работающ», он не мог спастись от разорения, «когда у него продадут, за казенные или оброчные недоимки, его скот» и все добро, ибо выплаты велики, а «в большей половине России земля без удобрения едва возвращает посеянные зерна», подзаработать на стороне не получается, потому что «работа подешевела» настолько, что не было смысла подряхаться на заработки. «Крестьяне, прикованные к своим наделам <...>, лишенные возможности употреблять свой труд там, где он оказывается производительнее и для них выгоднее, как бы застыли в той скученной, стадообразной, непроизводительной форме быта, в которой они вышли из рук крепостного права» [52, с. 40]. За возможность откупиться от надела или перейти в другую общину надо было «бросить на воздух 400, 450 и даже 500 рублей» за один покидаемый участок: от надела было запрещено отказываться в течение 9 лет [52, с. 40]. Таких денег не было. По Положению крестьян ущемляли в правах и тем, что им оценивали наделы не по действительной их стоимости, а по назначенной: «каждая десятина оценена в 29 руб. 63 коп., считая здесь и пространства, занятые крестьянскими строениями и промежутками между дворами», в то время как при покупке «целых имений с лугами, помещичьей усадьбой и скотом, цена обыкновенно бывает около 15 руб.» [52, с. 38], т.е. цену за земельный надел взвинтили вдвое. Случалось, что помещик мог купить землю и дешевле: И.И. Петрункевич, например, купил 225 десятин земли в Новоторжском уезде всего за 800 рублей, «т.е. по 3 рубля за десятину плюс расходы по совершению купчей» [44, с. 249]. Крестьянина заставляли платить за надел, который назначался комиссией без учета его согласия иметь именно этот участок и «без принятия в соображение почвенных особенностей» его [52, с. 35]. Крайне тяжелое положение складывалось у «тех крестьян, которые, перед самым освобождением, были сведены предусмотрительными помещиками на худшие земли, на пески, яры

или мочевины; подобные примеры довольно нередки, и их можно встретить во всех губерниях» [52, с. 35]. Кроме того, крестьянину после реформы отдавали в пользование не весь надел, которым он владел при крепостном праве: «при крепостном праве величина наделов определялась в течение долгого времени, и чаще всего определялась качеством почвы и местными удобствами: чем хуже была почва, т.е. чем больше она требовала удобрения, тем более отводилось крестьянам выгонной или луговой земли для содержания скота. При введении уставных грамот, большая часть наделов <...> была искусственно приведена к одной общей мерке» [52, с. 35]. Крестьян никто слушать не хотел, когда они пытались объяснить, что им реформой создали условия не для выживания, а для гибели: «Землю-то нашу он (помещик – А.Л.) так обрезал, что нам без этой обрезанной земли жить нельзя; со всех сторон окружил нас своими полями, так что скотины выгнать некуда; вот и плати ты за надел особо, да за обрезную землю еще особо, сколько потребует <...>. За то, что дали, значит, свободу, за то благодарим царя и господ, а жить не в пример стало тяжелее прежнего» [52, с. 35]. Крестьян не только вынудили нанимать за отдельную плату ту обрезную землю, которой они пользовались «целые века», их заставили платить также налог не с урожая, не с дохода, приносимого землей, а с площади земельного надела: неурожайный год был причиной не временного расстройства, а полного разорения большинства крестьянских хозяйств. Однажды невыплаченная недоимка из-за неурожайного года, из-за падежа скота, из-за болезни любого работоспособного родственника ввергала все семейство в беспросветную нищету. Да и обычно крестьянские семьи жили впроголодь. За недоимками и повинностями сборщики платежей являлись «к Покрову», что в начале октября, а «прежде, бывало, ждали до Андриана» (до декабря – А.Л.). В начале октября урожай покупался по самой низкой цене, и денег не набиралось на выплату сборщикам – «чтобы расплатиться теперь с повинностями, нужно тотчас же продать скот, коноплю (бывшую сырьем для изготовления веревок, мешковины, конопляного масла – А.Л.) <...>. Мужик и обождал бы, пока цены подымутся, – нельзя, деньги требуют, из волости нажимают, описью имущества грозят, в работу недоимщиков ставить обещают <...>. На скот никакой цены нет, за говядину полтора рубля за пуд не дают. Весною бились, бились, чтобы как-нибудь прокормить скотину, а теперь за нее менее дают, чем сколько ее стоило прокормить прошедшей весной» [68, с. 42-43].

Трудности не обошли стороной и дворянское сословие. Мелкопоместное дворянство разорялось и, не желая примириться с новым положением вещей и не имея возможности открыто противодействовать реформе, всю свою отчаянную ненависть направляло на своих бывших рабов. К одному из таких обреченных на разорение дворян однажды «пришли дворовые, чтобы объяснить, что ждать истечения двухмесячного срока, назначенного по “Положению”, они не желают и предупреждают, что покинуть свою службу. Старый помещик этого не ожидал и не знал, что ему сказать на такое заявление: он уставился глазами в ближайшего из своих старых слуг и вдруг неожиданно плюнул ему в лицо, а затем повернулся и вышел» [44, с. 41]. Другие из «обреченных» вели себя более агрессивно, когда им напоминали о своих правах вчерашние крепостные. Например, все обширное предприятие Мальцевских заводов «было основано на крепостном праве, т.е. на даровом и принудительном труде, заменявшем значительную часть оборотного капитала, необходимого при свободном труде. Это вело к расширению предприятий без всякого соотношения с рынком. С.И. (Сергей Иванович Мальцев – А.Л.) видел в этом даже свою особую заслугу, так как таким способом он “кормил своих крестьян”, давая им работу и хлеб. Он поддерживал заводы, приносившие ему крупные убытки, даже после освобождения крестьян только потому, что работали на этих заводах “его” крестьяне, т.е. его бывшие крестьяне, и этим способом он сохранял в своих владениях тот крепостной дух, который вне этих границ уже исчезал, благодаря падению рабства <...>. Когда, уже после объявления манифеста 19-го февраля, дух свободы прорвался в его владения, он не остановился перед крутой мерой: “бунтовщиков” он заковал в кандалы и отправил в тюрьму. <...> Всякий раз, когда разговор касался правительства, С.И. приходил в ярость и лицо его искажалось <...>. Крепостной труд пришлось заменить вольнонаемным, требовавшим огромного оборотного капитала <...>. Государственный кредит оказался не помощью, а бременем, т.к. все предприятие не было приспособлено к новому порядку и новым экономическим требованиям» [44, с. 236-237]. После 1861 г. многие крепостники разорились, иные, лишившись дармового дохода, не сумели изменить своей привычке жить роскошно, влезали в долги, закладывали по несколько раз свои имения. Богатели только те, кто имел свободные деньги. Так, С.И. Кошелев «на торгах снял несколько уездов, смежных с его большим винокурным заводом,



и стал производить корчемство в самых широких размерах. В результате получилось миллионное состояние» [51, с. 162].

Некоторые успевали нажиться в преддверии реформы: «один <...> богатый помещик Воронежской губернии обезземелил в 1859 году 700 душ крестьян и перевел их в государственные посредством особой сделки с кем следует» [52, с. 36]. Не взирая на то, как у кого сложилась судьба в тот сложный для страны период времени, в России зрело всеобщее недовольство проведенной реформой. Александр II, предполагая напряженность и со стороны крепостников, и со стороны крестьян, нашел способ удержать страну от потрясений. Дело в том, что реформа, которую именовали не иначе как «упразднением помещичьей власти» [52, с. 34], поделила землю в европейской части России так: 76 млн десятин достались 30 тысячам помещиков, 73 млн поделили между 10 млн крестьянских дворов [5, с. 62]; но осталось еще 53 128 654 десятины казенной земли [64, с. 85]. Предполагалось, что эта земля будет предложена для аренды государственным крестьянам. Однако элементарные расчеты показали, что государственным крестьянам выкуп этой земли не по карману: «едва ли есть основания предполагать, что при нынешнем размере своей податной способности наш государственный крестьянин был бы в состоянии ответить призывно в близком будущем на мысль гр[афа] Муравьева» [64, с. 85], министра государственных имуществ. А если дело именно так и обстояло, тогда зачем понадобилось царю выделять для невостребованных надобностей 53 с лишним миллиона десятин? Не раскрывается ли секрет этой акции в более поздний период, когда С.Ю. Витте заявил председателю уже созданного «Союза Освобождения» И.И. Петрункевичу и учредителю партии кадетов П.Н. Милюкову следующее: «Вы думаете, что правительство обнаружило свое бессилие и не может справиться с общественным движением при помощи этого самого общества? <...> Правительство располагает средством <...>: стоит только пообещать крестьянам наделить каждую семью 25-ю десятинами земли, – все вы, землевладельцы, будете сметены окончательно. Правительство, конечно, не может прибегнуть к этому способу, но вы не должны забывать этого» [44, с. 429].

Предназначение казенной земли, очевидно, и правда состояло в том, чтобы выполнять роль гарантированного «последнего способа самозащиты монархии от революционеров и революций» [44, с. 429-430] – как «сверху», так и «снизу». Возможно, сановная русская

аристократия это поняла или узнала, но все возмущения по поводу «не доведенной до конца» реформы Александра II носили невыразительный, неявный характер и объединяли недостаточно влиятельные силы. На первых порах, правда, было немало негативных отзывов в печати об объявленной реформе с нагнетанием внимания к невыгодным сторонам нового российского быта исключительно ради формирования общественного мнения по поводу того, что все плохое в судьбе бывших крепостных случилось «после выхода их на волю <...> и что скоро для дворянства жизнь в деревнях будет положительно невозможна» [52, с. 37], как будто принципы реформы разрабатывались не помещичьим сословием и не содержали заранее запрограммированных изъянов, какие немедленно после 1861 г. обнаружили себя. Еще более странной в этом ракурсе выглядела критика крестьянской реформы со стороны московского, петербургского, тверского и других губернских дворянских собраний, обратившихся в 1862 и 1865 гг. с адресами к Александру II: все рекомендации по проведению отмены крепостного права разрабатывались непосредственно этими господами. Однако критика реформы – это был лишь повод: на самом деле дворянская элита имела намерение в осторожной форме предъявить претензии императору за то, что реформы не коснулись главной, по ее мнению, причины российской неустроенности – самодержавной власти, которая квалифицировалась чуть ли не как бессменная диктатура, лишенная гибкости в решении общественных противоречий, не соответствовавшая духу времени и изменившимся условиям. В адресах губернских собраний, «наряду с критикой крестьянской реформы, содержалось политическое требование созыва выборных представителей земли русской, Общей земской думы, иными словами, создания представительного образа правления. Особенное неудовольствие правительства вызвал московский адрес 1865 г., по поводу которого был опубликован специальный рескрипт царя на имя министра внутренних дел. В рескрипте подчеркивалась неправомерность обсуждения дворянских вопросов, “относящихся до изменения существенных начал государственных в России учреждений”, а губернское собрание объявлялось распущенным» [51, с. 235].

Затем стали появляться статьи, издаваемые отдельными книжками, где пропагандировалась мысль об установлении в России земской всесословной монархии как единственно возможной и истинно народной формы правления [51, с. 243]. На авторов

посыпались гневные отповеди либеральных кругов общества так активно, что создалось впечатление, будто противники Александра II только и ждали повода, чтобы затеять полемику. Оппозиционные круги при этом не представляли собой единый фронт. Одни нагнетали ситуацию, «страда за народ»: требовали пересмотра налогообложения крестьян («Если величина земельного владения может оплатить только труд владельца и его семьи и не оставляет ему никакого избытка, то и налогообеспособность такого участка равна нулю» [44, с. 88]); подключались к народническому движению, вовлеченные в него глубоким сочувствием к трудовым слоям, а также идеями «опрощения» и «слияния с народом». Другие – нетерпеливые радикалы – занялись изготовлением «золотых грамот» – поддельных царских манифестов о всеобщем переделе земли, вызывавших серьезные волнения в крестьянской среде, которая поверила этим «грамотам» [44, с. 90]. Правительство ответило репрессиями, которые тут же породили терроризм – бескомпромиссный, устрашающий, находящий поддержку у населения. Начиная с покушения Д. Каракозова на жизнь императора Александра II потянулась вереница убийств государственных деятелей, вооруженного сопротивления властям, революционных выступлений на улицах и площадях, пропагандистская антиправительственная работа среди крестьян, рабочих, учащейся молодежи, в войсках.

### **Формирование «огромного клуба всероссийской оппозиции»**

Против самодержавия вышла на тропу войны вся оппозиция – «мирная» (либерально-демократические конституционалисты) и «боевая» (революционеры-террористы).

Стал формироваться «огромный клуб всероссийской оппозиции, по камертону которого шло почти что целиком все русское общество» [29, с. 121], откровенно желавшее свержения монарха. Однако мнения полярно расходились относительно будущего России: оппозиционеры не могли договориться, каким идеологическим силам царь должен уступить бразды правления в стране. Разногласица, по всей вероятности, была связана с тем, что в России еще со времен Петра I зародились четыре идеи, вокруг которых в дальнейшем группировалась политическая мысль различных партийных объединений:

1) идея **служения государству**, которая в дальнейшем могла тяготеть к *тоталитаризму*;

2) идея **служения обществу**, где интересы социума первичны, а государства – вторичны; эта идея в политике вела к *буржуазному демократизму*;

3) идея **социальной справедливости** – прообраз идеологий **социализма** и **тред-юнионизма**;

4) идея **неограниченной свободы личности**, последовательное воздействие которой порождало в экономике **либерализм**, в политике – **анархизм**, в философии – **иммориализм**.

В России, «которую История двигала вперед резкими толчками» [8, с. 6], любая иная новомодная идея, пришедшая из Европы, интерпретировалась как дополнение к одной из четырех традиционных идеологий и не воспринималась как самостоятельная теория; поэтому она довольно скоро попадала в разряд однодневок. Эта переменчивость интереса к европейским идеям породила неожиданное явление в русской общественной жизни, характеризующейся тем, что в XIX в. даже стали различать «людей тридцатых, людей сороковых годов, <...> засим появились у нас шестидесятники, семидесятники, восьмидесятники и т.д., и все эти термины отнюдь не представляют хронологических обозначений, а содержат указание на определенное мировоззрение. Реализм, нигилизм, позитивизм, материализм, идеализм, декадентство – все это промелькнуло <...> в сущности на протяжении одной человеческой жизни» [8, с. 6]. Оказалось, то, что волновало еще вчера как подтверждение правильности только что избранного шанса для будущего процветания России, сегодня уже другими, более молодыми воспринималось «не больше, чем “буря в стакане воды”, о которой через несколько лет никто и вспоминать не будет» [8, с. 6]. Так оно и случалось, а «открытая Тургеневым категория “отцов и детей” <...> все рельефнее оформлялась и становилась все более яркой чертой русской общественности» [8, с. 6]. В каждом политическом объединении появлялись свои ревнители «чистоты» взглядов среди соратников. Эти лидеры упорно и непримиримо сражались с идеологической всеядностью, чреватой, с их точки зрения, «шатаниями», «уклонениями» и «отмежеваниями», стояли на страже «ценностей первооснов», и любое сомнение в «священных постулатах» ассоциировалось у них с катастрофой, с неоправданной ревизией фундаментальных принципов, сплотивших единомышленников на борьбу за торжество избранной идеи. Находились, правда, и такие, которые не желали следовать общепринятым нормам, настаивая на своем праве свободно ориентироваться и в «своей», и в «чужеродной» идеологии, чтобы не чувствовать себя зашоренным. «Я не боюсь быть диким и брать то,

что мне нужно, и у Канта, и у Фихте, и у Маркса, и у Brentano, и у Родбертуса, и у Бем-Баверка, и у Лассаля», – доказывал, например, П.Б. Струве свое право на «всеядность» в статье «Против ортодоксальной нетерпимости: Pro domus sus» [55, с. 302].

Однако такие выпады случались не часто, а правилом было то, что для каждой политической силы России программа, основанная на одной из традиционных идей, представляла собой «святую святых. Русский “общественник” твердо верил в непогрешимость своих догматов. Вне партии для него ничего не существовало. Не партия служила интересам страны, а страна должна была служить интересам партии. Если программа расходилась со здравым смыслом и требованиями жизни, то виноват был здравый смысл и требования жизни <...>. Никто из этих самонадеянных доктринеров не сомневался в возможности и даже легкости управления громадной страной» [29, с. 123]. Может быть, поэтому меры реализации заявленных идей предполагались обычно радикальные и решительные. Даже Н.Г. Чернышевскому преобразования в стране казались делом несложным: «Прежняя теория гласит: все производится трудом; новая прибавляет: и поэтому все должно принадлежать труду» [63, с. 309]. В тот период считалось важным, чтобы мировоззренческие построения соответствовали законам логической доказательности. Убедительность позиции в существенной степени определялась количеством аргументов в ее пользу и качеством связей между ними. Технократическому мышлению не было места в среде тех, кто привык мыслить категориями гуманитарного знания. Поэтому программы политических нетеррористических объединений России представляли собой, как правило, сугубо теоретическую концепцию с перечнем поставленных задач при слабо разработанной технологии претворения их в жизнь. План реализации программы обычно носил декларативно-умозрительный характер, наподобие радикальных проектов Чернышевского: дабы в державе все «принадлежало труду», надо добиться такого ее обустройства, «чтобы народ всему голова был, а всякое начальство миру покорствовало; и чтобы суд был праведный, и ровный всем был бы суд, и бесчинствовать над мужиком никто не смел» [63, с. 613]. Стиль организационной деятельности нетеррористической оппозиции диктовался духом эпохи: это был типичный бюрократический стиль, где тенденция к теоретичности и «неинструментальности» управления задуманными процессами преобладала, поскольку главным считалось



тот хорошо знает, какую оценку следует давать этим буйным возгласам, дерзким планам и отчаянным решениям, которые на них высказываются, и хорошо тоже знает, какие мокрые курицы на деле и в практической жизни эти террористы в четырех стенах» [26, с. 209], без конца говорящие и говорящие об одном и том же на протяжении многих десятилетий.

Совсем иное дело настоящие террористы-«бомбисты», «ставящие своей целью “обязательное” и окончательное разрушение правительственного и общественного строя» – «с помощью политических убийств», понимаемых как «единственное быстрое средство для достижения государственного переворота» [73]. Создание террористической организации «Народная воля» стало связываться с провалом идей «народолюбства» и «хождения в народ» – этих самобытных явлений русской действительности, – когда радикально настроенная интеллигенция пришла к выводу о том, что «экономическое освобождение немыслимо без освобождения политического, а последнее может быть только завоевано у правительства и завоевано единственно силою» [73]. Русское общество медленно, но верно приучалось к мысли о том, что «с русским правительством легальная борьба невозможна и безуспешна» [44, с. 106], поэтому на передний план политической жизни страны вышли смельчаки-«бомбисты» в качестве новых героев, готовых ради общего блага жертвовать собой и принять «муку, решившись обрызгать человеческой кровью свои руки» [25, с. 336]. Народолюбцы заявили в своей программе, единогласно принятой на Липецком съезде в 1879 г.: «Мы будем бороться по способу Вильгельма Телля до тех пор, пока не достигнем <...> свободных порядков» [74]. Поскольку систематический террор не мог долго существовать без материальной поддержки, то вопрос денежных поступлений волновал не меньше, чем разработка программы экстремистских объединений. Липецкий съезд решил эту проблему в полном соответствии с характером действий народолюбцев: «Ввиду того, что правительство в своей борьбе с нами не только ссылает, заключает в тюрьмы и убивает нас, но также конфискует принадлежащее нам имущество, мы считаем себя вправе платить ему тем же и конфисковать в пользу революции принадлежащие ему средства» [74]. Кроме того, у власти в тот период имелись все основания предполагать, что народолюбческое движение получало материальную поддержку от «некоторых

крайних фракций либеральной партии», а также от «интернациональной партии анархистов-динамитчиков» [73]. Свою казну экстремисты также пополняли всевозможными иными способами, в том числе и вовсе курьезными: «чтобы доставать деньги у русского правительства, они устраивают через своих фальшивый донос на себя же, что вот такой-то узнал, что замышляется такое-то преступление, и за то, что такой-то предупредил, ему выдается награда» [4, с. 51]. Лицам, приближенным к правящему дому Романовых, приходилось сетовать на то, что «дикое революционное движение не только не встречало во многих оппозиционных сферах общества противодействие, но и не подвергалось в них даже поверхностной критике» [73]. Таким образом, российская элита вынуждена была признать, что во второй половине XIX в. в России основные противоправительственные силы имели влияние на общество и представляли собой две разновидности – революционную, объединявшую сторонников расправы с самодержавной властью, и «мирную», которая имела либерально-демократические взгляды.

Эти два течения, провозгласившие один и тот же лозунг – «Свобода, равенство и братство!» – имели разные и тактические, и стратегические цели, поэтому, не критикуя друг друга, они тем не менее не могли найти общий язык, хотя попытки негласно встретиться и договориться о координации действий все-таки имели место. Так, 3 декабря 1878 г. в Киеве на квартире славянофила В.Л. Бернштама было организовано двумя либералами-земцами – И.И. Петрункевичем и А.Ф. Линдфорсом – тайное совещание с «бомбистами» для обмена мнениями по поводу методов достижения позитивных перемен в стране. Позицию террористов на этой встрече защищали «Осинский, Антонов, Ковалевская, Людмила Волькенштейн и много других. Из числа названных – первые двое впоследствии были повешены, а две последние погибли в Сибири» [44, с. 101]. Сведения об этом тайном совещании стали известны общественному мнению значительно позже, когда многих из присутствовавших на встрече террористов уже не было в живых. Впервые о подробностях встречи экстремистов и конституционалистов поведал американский исследователь русского революционного движения последней четверти XIX в. Джордж Кеннан. Затем появилось еще одно сообщение о тайных переговорах в брошюре Льва Тихомирова, ставшего впоследствии редактором



«Московских ведомостей» [44, с. 102]. И, наконец, участник встречи И.И. Петрункевич кратко описал в своих воспоминаниях основные моменты совещания, которое понадобилось для того, чтобы убедить «бомбистов» «приостановить террористические акты» на какой-то срок, что позволит в спокойной обстановке подготовить широкие общественные круги к осознанию не только всей вредоносности внутренней правительственной политики, но и необходимости «коренных реформ в смысле конституции, гарантирующей народу участие в управлении страной, свободу и неприкосновенность прав личности» [44, с. 101]. Дебаты на тайной встрече ни к чему не привели. Каждая сторона осталась верна своим целям и избранной тактике: революционеры не верили, что либералам-земцам «удастся сдвинуть общественное мнение с мертвой точки равнодушия» [44, с. 101], а «мирная» интеллигенция удостоверилась, что с экстремистами ей не по пути и ее сила в консолидации только с единомышленниками, нацеленными на общественные реформы, благодаря которым «террор потерял бы под собой почву» [44, с. 101].

#### **Перемены в настроениях столичной элиты и начало репрессий против экстремистов-«бомбистов»**

И.И. Петрункевич и А.Ф. Линдфорс даже не подозревали, сколь пророческим было мнение народовольцев. Ни в Москве, ни в Петербурге участники тайного совещания не получили никакой поддержки. Московское земство, возглавляемое Наумовым, высказалось за то, что оно «должно строго держаться формальных прав, ему дарованных» «Положением о земских учреждениях»; все, что сверх этих прав, – «нельзя признать легальным» [44, с. 103]. Редактор санкт-петербургской газеты «Молва» В.А. Полетика встретил активистов-провинциалов «любезно», но удивил визитеров тем, «что три двери, через которые <...> проходили, он последовательно запирает на замок. Он, очевидно, предвидел, что беседа будет иметь весьма серьезный характер и не должна быть нарушена ни появлением нежданного лица, ни подслушана» [44, с. 103]. В.А. Полетика выразил собеседникам «полное сочувствие», но после долгого обсуждения всех «pro и contra» (за и против) в позициях конституционалистов неожиданно объявил, что дела его газеты «поглощают собой все другие интересы и цели и что всякий риск не соответствует его планам» [44, с. 104]. Визиты к другим видным особам, которые имели вес в политической жизни России, принесли такой же результат. Провинциалы почувствовали, что

в настроениях столичной элиты произошли какие-то существенные перемены. Раньше газеты свободнее высказывали свою точку зрения, а теперь «Неделя», «Русская правда» и «Русский мир» закрыты за распространение лишнего [4, с. 30]. Раньше высшему чиновничеству даже преступное бездействие сходило с рук. Так, после очередной попытки убить Александра II в начале 1879 г. выяснилось, что «за пять дней до покушения германское тайное агентство прислало шифрованные телеграммы на имя Адлерберга <...>, который никогда не берет на себя труда что-нибудь распечатать. Берлинский тайный комитет извещал, что социалисты намереваются сделать покушение на жизнь государя, или на обоих разом – царя и наследника, или же на всю семью царскую одновременно, но что покушение будет непременно. И такая депеша лежит нераспечатанная на столе у ленивого министра!» [4, с. 29-30]. А теперь разжаловали графа Ростовцева только за то, что он вел «антирусскую переписку с Герценом» [4, с. 31]; графиня Гендрикова была выслана из Петербурга за «письмо, говорят, дерзкое государю <...>. Потом эта барыня громко везде ругала государя, что он – *un vieus ramoli* (старый маразматик – А.Л.) и проч. <...> Вот почему и попросили уехать подобру-поздорову» [4, с. 34]. Если всего годом раньше у государя были «такие советчики, которые боятся только одного – потерять портфель министра» [4, с. 37], то теперь «граф Игнатъев <...> говорит, что ни за что не примет портфеля министра народного просвещения» [4, с. 54], когда все вокруг действовало так «волнующе» на умы подрастающего поколения.

Накануне трагической гибели Александра II столица переживала настоящий шок: «экзекуции» против царя, государственных деятелей и добровольных помощников полиции приобрели столь устрашающий характер, что держали в страхе весь город, по которому ползли слухи – один страшнее другого: то террористы якобы планировали взорвать не только царя и его семью и слуг, но и «весь Петербург», то грозили оставить столицу без водопровода, то обещали во время обедни произвести подрыв Исаакиевского собора и т.д., и т.п. Политические убийства в стране стали чуть ли не ежедневной новостью. Вернувшийся из Лондона барон Клейст рассказывал, как на него за границей «смотрели как на чудо, что он приехал из Петербурга, из такого города, откуда никто целым не может приехать» [4, с. 46]. В конце 1879 г. Сенат издал указ о том, что «Петербург объявлен на военном положении» [4, с. 32], но и эта мера не остановила

беспорядки. Мало того, казалось, экстремисты столь всемогущи и вездесущи, что подозрительность в русском обществе стала тотальной. Вся столичная элита тряслась от страха, боясь попасть в поле повышенного внимания как террористов, так и полиции. Но как ни осторожничали люди – жандармы свирепствовали, а революционеры продолжали действовать дерзко, демонстрируя при этом свою осведомленность о делах сугубо конфиденциальных. Так, однажды у начальника III Отделения Дрентельна «обедали двое его приятелей. После обеда они перешли в кабинет, где на столе увидели социалистический журнал “Земля и воля”. Номер был не тщательно напечатан. Дрентельн сделал это замечание и нашел, что довольно литературно написано. На другой день он получил письмо, в котором социалисты его благодарят за то, что нашел, что хорошо написано, что само правительство виновато, что дурно напечатано, но обещают, что скоро это исправят» [4, с. 27-28]. Правительство суетливо искало выход из создавшегося положения, прислушиваясь к любым подсказкам чиновников, даже таким, как рекомендация командующего войсками Казанского округа: «сделать обыск офицерам во всем Петербурге, а затем сделать ответственными за жильцов всех домохозяев; если найдется в доме типография и подозрительная личность – конфисковать дом в казну» [4, с. 43]. Правительство решилось в конце концов на экстремизм террористов ответить беспощадными репрессиями. Лорис-Меликов, назначенный «главным после царя», обратился за пониманием и поддержкой к жителям столицы в надежде, «что они помогут сокрушить зло <...>, чтобы вернуть порядок в России» [4, с. 39]. Но «передовое сословие» [4, с. 27] ответило невмешательством в ситуацию, считая, что все происходившее в стране являлось возмездием режиму, который не соответствовал «духу времени», поэтому должен был «весь odium (гнев – А.Л.)» «принять на себя» и остановить революционное движение «не смертными казнями, не каторгой, не скорпионами, которыми располагает власть, а освобождением страны от самодержавия» [44, с. 98, 97]. Отсутствие общественной поддержки в борьбе с экстремизмом подтолкнуло охранку на беспрецедентное расширение агентурной сети. Агентами наружного наблюдения (филерами) стал заниматься Евстратий Павлович Медников, «простой малограмотный человек, старообрядец, служивший раньше полицейским надзирателем. Природный ум, сметка, хитрость, трудоспособность

и настойчивость выдвинули его. Он понял филерство как подряд на работу. Он создал в этом деле свою школу – Медниковскую, или, как говорили тогда, “Евстраткину” школу. Свой среди филеров, которые в большинстве были из солдат <...>, он знал и понимал их хорошо, умел ладить, разговаривать и управляться с ними» [53, с. 125]. Медников в своей школе работал за десятерых, и очень скоро дослужился до «Владимира в петлице», который давал право на потомственное дворянство. Евстратий Павлович не замедлил воспользоваться этим правом и даже намеревался составить свой фамильный герб, где «фигурировала пчела как символ трудолюбия» [53, с. 127]. Среди своих агентов он пользовался непререкаемым авторитетом: от оценки Медникова зависели «и награды, и наказания, и прибавки жалованья, и штрафы, и расходные» [53, с. 126] его подопечных.

Филеры, молодые и пожилые, с обветренными лицами, были усердными служаками. Отношение к ним в Департаменте полиции было самое бережное из-за их деловитости, выносливости, серьезности. Любой из этих агентов политической полиции умел приспособиться к непредсказуемым обстоятельствам настолько, что «мог пролежать в баке над ванной <...> целый вечер; он мог долгими часами выжидать на жутком морозе наблюдаемого с тем, чтобы провести его затем домой и установить, где он живет; он мог без багажа вскочить в поезд за наблюдаемым и уехать внезапно, часто без денег, за тысячи верст» [53, с. 127]. Филер при надобности успешно выполнял роль извозчика, торговца спичек и т.д. Нередко «мог прикинуться он и дурачком и поговорить с наблюдаемым» [53, с. 127] так, что самый опытный профессиональный революционер не догадывался признать в нем жандармского агента.

Докладные записки, где данные наблюдений отмечались по часам и минутам, после придирчивой контрольной проверки самим Медниковым попадали на стол к жандармскому начальству так же, как и результаты перлюстрации писем членов революционных организаций, производимой в специально созданном, так называемом «черном кабинете». Ведал делами этого «черного кабинета» до самой революции 1917 г. один и тот же чиновник, переживший двух царей и всех министров внутренних дел, «состарившийся на своем деле и дошедший до чина действительного статского советника» [53, с. 129]. Имени его не знал никто, кроме министра, директора Департамента полиции и очень немногих близких им лиц. В «черном кабинете» контролировалась вся частная корреспонденция и даже переписка членов императорской фамилии [44, с. 47]. А «письма участников

революционного движения подвергались действиям различных кислот в целях проявления секретного текста, расшифровывались, копировались и отсылались местным розыскным органам» [53, с. 130].

Для жандармерии в начале революционного движения в России вполне хватало сопоставления данных перлюстрации и наружного наблюдения с показаниями арестованных для воспроизведения полной картины деятельности не только отдельных «бунтовщиков», но и их организаций. Поэтому Медников и «старикашка черного кабинета» старались вовсю, а полицейские агенты усердствовали и изыскивали новые способы добывать сведения о революционерах. Они фиксировали подозрительную деятельность регулярно контактирующих между собой лиц, обнаруживали их связи, давали возможность сплотиться в организацию и начать «фабрикацию прокламаций», а затем полиция арестовывала всех участников, чтобы отдать «прокуратуре сообщество с большими по возможности доказательствами виновности» [53, с. 168]. Кроме того, жандармы мешали работе революционных деятелей, «проваливали» «их в глазах их же товарищей как деятелей не конспиративных <...>; иными словами, действовали системой предупреждения, а не только пресечением» [53, с. 168]. При всем при этом справиться с проблемой терроризма Департаменту полиции не удавалось: казалось, что революцию уже невозможно удержать привычными полицейскими мерами. Составители докладных записок «наверх» зачастую умышленно преувеличивали угрозу революционного «брожения умов» в стране не только в связи с естественным желанием отличиться перед властью и продвинуться по карьере, но еще и из-за страха навлечь на себя ответственность, если вдруг и в самом деле возникнет в России что-нибудь экстраординарное. Жандармы обрели уверенность лишь тогда, когда получили непонятно откуда взявшуюся поддержку. По крайней мере, с некоторых пор в полиции не гнушались ничем, чтобы продемонстрировать свою первостепенную значимость среди государственных служб. Многие политические деятели страны были уверены в том, что внутренней политикой в России руководит именно министерство внутренних дел. «Оно начало с проведения “Положения об усиленной охране”, изданного в первый год царствования Александра III, и с помощью этой “временной меры” открыло преследование не только отдельных лиц, но и целых

категорий, заподозренных в “неблагонадежности”. Жандармерия снова получает самостоятельное положение и пользуется им в полную меру своей безответственности. Снова ограничивается круг действия суда присяжных и гласность судебного разбирательства политических процессов, публичное рассмотрение которых поставлено в зависимость от генерал-губернаторов <...>; чрезвычайно увеличивается административная ссылка и вместе с тем удлиняется пятилетний срок ее, установленный “Положением” до 10 и 15 лет; <...> отменяется несменяемость мировых судей. Наряду с этим принимаются все более решительные меры против школы – высшей, средней и низшей, а также против свободы слова <...>, изъяты из публичных библиотек некоторые сочинения 125 авторов – и в том числе Короленка и Л.Н. Толстого, и несколько наиболее распространенных журналов, а «Отечественные Записки» закрыты навсегда. <...> Граф Делянов обратился <...> с требованием не допускать в гимназии детей прачек, кухарок, а также всякой прислуги и вообще детей низших сословий» [44, с. 283].

Все это было внедрено в жизнь России столь решительно и молниеносно, что и «мирная», и радикальная интеллигенция не успели ничего противопоставить этому натиску. Если раньше либералы отворачивались от той системы государственного порядка, которая допустила террор и снизу, и сверху (легальная политическая оппозиция была «одинаково против убийства из-за угла и против виселицы» [44, с. 99]), то теперь все противники самодержавного строя заняли новую – выжидательную – позицию. А охранка между тем не сбавляла темп и ударную силу в борьбе с «ниспровергателями трона». Жандармские способы политического дознания и профилактики революционной деятельности изменились настолько, что стали скорее напоминать методы военной разведки – такие, как дезинформация, провокаторство, внедрение шпионов в неприятельские ряды. Особенно часто применялись подлоги в отношении лиц, которых полиция подозревала в антиправительственной деятельности и называла в своих досье «вредными для будущности государства» [18, с. 27]. В практике Департамента полиции были «вполне возможны даже такие случаи, когда какой-нибудь студент, сосланный в Сибирь за революционную деятельность, в действительности ни разу ни одного настоящего революционера не видел, так как распропагандировали его, устроили для него кружок и там занимались с ним <...> исключительно провокаторы» [18, с. 26-27].

Жандармы порой проявляли такие «чудеса» в сыском деле, что не только простым людям – даже высокопоставленным особам становилось трудно понимать, где деятельность Охранного отделения была на пользу отечеству, а где были лишь «полицейские хитрости». У А.В. Богданович, жены члена совета министра внутренних дел России, в дневнике существует запись, о многом говорящая: «Начальники охранного учреждения сами, чтобы выслужиться, устраивают тайные типографии, чтобы их затем якобы открыть и получить награду. Так поступили полковник Кременецкий, его помощник Модль и Коттен» [4, с. 301]. Однако власть не усматривала ничего особо предосудительного в действиях ретивых жандармов, тем более что теперь «политические дела шли помимо суда: для них был не суд, была расправа» [18, с. 26]. Считалось, чем больше «бунтовщиков» засадить в тюрьмы, тем больше порядка будет в стране, – вот и старались вовсю. В особых случаях прибегали к «полицейским хитростям», как было, например, с Л.П. Меньшиковым, который за короткое время сделал блестящую карьеру в Департаменте полиции благодаря особому стечению обстоятельств. Как-то раз полиции попали в руки секретные данные и явки какой-то организации. С этими данными некий заграничный представитель этого тайного объединения «должен был объехать ряд городов и дать своим группам соответствующие указания. Меньшикову были даны добытые сведения и, вооружившись ими, он в качестве делегата объехал по явкам все нужные пункты, повидался с представителями местных групп и произвел начальническую ревизию. Иными словами, успешно разыграл роль революционного Хлестакова, и в результате вся организация подверглась разгрому» [53, с. 128].

### **Легальное появление марксизма в России**

Не надо было специально проводить сравнительный анализ деятельности Департамента полиции до и после убийства Александра II, чтобы убедиться в том, что при воцарении Александра III на работу Охранного отделения кто-то стал негласно влиять: безуспешные – вплоть до 1 марта 1881 г. – потуги хоть как-то взять под полицейский контроль ситуацию в стране за короткое время сменились энергичными и эффективными действиями по усмирению оппозиции. Реальные основания для такого вывода, оказывается, имели место в тайной истории Российской Империи того времени. О том, что в царствование Александра III параллельно

с существующим легитимным Советом министров скрытно действовал еще некий властный теневой кабинет, можно было только догадываться по некоторым неявным признакам. Одной из таких показательных особенностей последних двух десятилетий XIX в. служит пример легального появления марксизма в империи: модная на Западе материалистическая наука К. Маркса оказалась в России нежданно-негаданно, и многим это представлялось «чрезвычайно оригинальным» явлением. В.И. Ленин наряду с другими политическими деятелями из оппозиционных кругов искренне недоумевал: «В стране самодержавной, с полным порабощением печати, в эпоху отчаянной политической реакции, преследовавшей самомалейшие ростки политического недовольства и протеста, внезапно пробивает себе дорогу в *подцензурную* литературу теория революционного марксизма <...>. Открывались марксистские журналы и газеты, марксистами становились повально все» [34, с. 15]. Жандармский генерал А.И. Спиридович, изучавший по архивам Департамента полиции историю российского революционного движения, тоже отметил в своих записях, что к «Капиталу» Маркса верховная власть самодержавной империи относилась по малопонятным причинам настолько благосклонно, что даже выделила «субсидии через своего сотрудника на издание марксистского журнала» [53, с. 133]. Генералу жандармерии позиция властей представлялась беспечной, недальновидной и даже возмутительной. Он писал: «Грамотные люди, читая про диктатуру пролетариата, не видели в ней террора и упускали из виду, что диктатура невозможна без террора, что террор целого класса неизмеримо ужаснее террора группы бомбистов. Читали и не понимали или не хотели понимать того, что значилось черным по белому» [53, с. 133]. А.И. Спиридович и немало иных консерваторов ставили верховной власти в упрек то, что руководящая элита не до конца осознавала опасность последствий бесконтрольного и бестолкового ознакомления населения с новомодной экономической теорией в стране, где подавляющее большинство жестоко бедствовало и ни материально, ни морально не было готово к рациональным реформам из-за перманентного пребывания в состоянии тревожного предощущения перемен не к лучшему, а к худшему в своей жизни; почти полная отрешенность от благ, производимых этим большинством, но неизменно концентрировавшихся в руках малочисленной элиты, порождала



глухо нараставшее недовольство многомиллионных масс; риск правительственных кругов состоял в том, что теория Маркса неизбежно должна была повлечь за собой активизацию деятельности социальных движений, с таким трудом поставленных под контроль надзирающих охранных учреждений. Но верховная власть проигнорировала эти предостережения из-за уверенности в том, что, во-первых, к лозунгам – «Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Вам нечего терять, кроме своих цепей!» – рабочий класс России останется глух, поскольку он малочислен и политически незрел, а сама страна не принадлежит «к зоне ядра капиталистической мирэкономике» [6, с. 7]. Великая Российская Империя всегда относилась к тем державам, где «самые существенные, плодотворные для народа и прочные меры и преобразования исходили от центральной воли государственных людей» [43, с. 38]. Во-вторых, научный труд Маркса «Капитал» – это не та книга, которая будет понятна любому и каждому и которую всерьез и дотошно станет изучать многомиллионное население. Когда в 1897 г. готовили к выпуску третий том сочинений Маркса, цензор Соловьев мотивировал выход в свет новых разделов «Капитала» тем, что два первых тома «были разрешены до него», – и никакой беды не случилось, «а третий том так написан, что сам автор не в состоянии понять того, что написал» [4, с. 220]. И наконец, в-третьих, ставка на распространенное в российских образованных кругах верхоглядство и надежда на русский «авось» вначале оправдали себя: революционизирования масс в первые годы появления «Капитала» в России действительно не произошло, а вот «увлечение марксизмом» и в самом деле стало «повальной болезнью русской интеллигенции <...>. Профессура, пресса, молодежь – все поклонялось модному богу Марксу. Марксизм с его социал-демократией считался тем, что избавит не только Россию, но и весь мир от всех зол и несправедливостей и принесет царство правды, мира, счастья и довольства. Марксизмом зачитывались все, хотя и не все понимали его. Студенческие комматки и углы украшались портретами “великого учителя”» [53, с. 133]. В результате доморощенные «любомудры», давно желавшие жить по-европейски, получили повод для переключения внимания с реальных внутренних проблем России на публицистические дискуссии по теории Маркса.

Трудно представить, чтобы ради только общественной эйфории «Капитал» появился в России. К слову сказать, Маркс не считал открытые им в европейской жизни закономерности исторически

неизбежными в развитии всех стран мира: возможность использования отдельных положений «Капитала» в практике микроэкономического управления собственностью не означала, что макроэкономическая система капитализма в целом являлась универсальной для перенесения ее на любую почву. Так, некоторые главы «Капитала» действительно были пригодны на роль добротного пособия как по ориентированию в изменчивой стихии рынка, так и по методам обогащения в условиях колебаний конъюнктуры товарного обращения, что могло заинтересовать крупных собственников. К их числу относились примерно 830 титулованных дворянских семейств [60, с. 203], составлявших сановную знать, придворную аристократию, высшее чиновничество. Если бы учение служило только меркантильным интересам малочисленной элиты, то «Капиталу» была бы отведена скорее всего роль пособия сугубо для избранных – и не более того. Значит, существовали какие-то иные причины для легального распространения теории Маркса.

### **«Священная дружина» и ее крах**

Не связана ли поддержка марксизма с идеями самосохранения российской элиты и создания новой системы власти в стране? Обращение к архивным документам о существовании в империи тайного общества «Священная дружина» убеждает: связана. «Священная дружина» как раз и была в России 1880-х гг. тем могущественным теневым кабинетом, который организовал усмирение терроризма и приструнил оппозицию, направив ее действия и мысли в запрограммированном направлении. Тайная организация возникла 12 марта 1881 г. – фактически сразу же после убийства Александра II – в обстановке тотального страха, овладевшего всем высшим светом Российской Империи, включая и Александра III, который на первых порах не правил, а отсиживался в Гатчине и о котором Маркс тогда сказал: «Это царь, содержащийся в Гатчине военнопленным революции» [40, с. 305].

Правящий дом Романовых получил в 1881 г. самый жестокий урок за всю историю своего существования во власти. Он обязан был осознать, что проведение реформ «а ля Европа» на фоне накопления внутренних противоречий в сочетании с безответственностью чиновного аппарата и нежеланием своевременно пресечь террор, который беспрепятственно набирал немыслимую силу, оборачиваясь чем-то беспредельно жутким и грозя превратить страну в крошечный ад, – все это не могло не обернуться падением

авторитета царской власти, причем падением до такой катастрофической степени, что даже вопросы жизни и смерти государя и его семьи оказались в ведении революционного террористического подполья. Чтобы покончить с этим безумием, вернуть доверие населения «к силам и действиям подлежащих властей» [73] и сохранить жизнь царя, 729 самых близких соратников Александра III и представителей высшего света России, назвав себя «обществом мужественных добровольцев», «союзом людей охранительного образа мыслей», объединились для «тайной помощи властям в борьбе с крайними партиями», «для твердого и решительного отпора всяким покушениям на государственный строй и его исторические основы» [73]. Благословил этот тайный союз сам Александр III при активной поддержке родных братьев – великих князей Алексея и Владимира Александровичей вкупе с обер-прокурором Святейшего Синода К.П. Победоносцевым [42, с. 125]. Помимо организации «Священной дружины», «мужественные добровольцы» создали обширную отечественную и заграничную агентуру – «секретную» (внедрявшуюся в ряды революционных партий под видом их членов) и «наружную» (с обязанностями сыщиков-филеров). Все это находилось в ведении вспомогательного общества «Добровольной охраны» – тайной полиции, действовавшей в Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Ярославле, Харькове, Киеве, Земле Войска Донского и других местах царской России. Численность «Добровольной охраны», по тогдашним меркам, была огромна и составляла 14 672 человека, орудовавших конспиративно и обязанных свое участие в охранной секретной полиции держать «в возможной тайне» [73]. Однако сейчас трудно разобраться: «евстраткина школа», старик «черного кабинета», многочисленные провокаторы, внедренные в подпольные ячейки революционеров, – все это звенья одной цепи, имя которой «Священная дружина»? Или это обычные службисты из Департамента полиции России? Дело в том, что министр внутренних дел Н.П. Игнатьев откровенно нарушал интересы своего ведомства в пользу «дружинников», когда под его началом и его подчиненные, и «мужественные добровольцы» действовали заодно по указке руководителя тайного общества. Это единение тайных и легальных сил приобретало особый смысл, когда после появления «Положения об усиленной охране» в августе 1881 г. статус министерства внутренних дел настолько повысился, что принятый документ

что принятый документ превращал главу этого учреждения в полновластного диктатора, приказом которого безоговорочно подчинялась самая мощная и влиятельная государственная структура. «Положение об усиленной охране» допускало не только обыски, аресты и конфискацию имущества по подозрению в антиправительственной деятельности, но и внесудебные рассмотрения политических дел [42, с. 144-145; 18, с. 26]. Поле для злоупотреблений всемогущей охранной службы невообразимо расширялось.

Однако всеми преимуществами диктаторского положения Н.П. Игнатьев попользовался недолго – получил отставку. Ему на смену пришел граф Д.А. Толстой, который с пониманием оценил возможности своего министерства. Графа Д.А. Толстого характеризовали как «тупого и злобного бюрократа, видевшего в борьбе с обществом свою задачу» [44, с. 256]. О нем ходил даже анекдот, очень смахивающий на правду, – так точно он передавал особенности натуры этого ревнителя прав дворянского сословия: «Гр. Толстой, отдыхая в своем имении, <...> будучи недоволен одним из своих слуг, отправил его с письмом к мировому посреднику с просьбой подвергнуть его телесному наказанию. Мировой посредник отказался исполнить такое требование, не находя соответствующего для этого закона. Недовольный граф ответил, что каждый хороший мировой посредник найдет такой закон и выполнит требование министра. Мировому посреднику пришлось подать в отставку» [44, с. 264]. Опираясь на эти принципы и получив под свое начало могущественнейший аппарат давления на общество, он повел беспощадную борьбу в интересах своих единомышленников на два фронта – против подпольщиков-революционеров и... против «Священной дружины», внутри которой назревал раскол.

Инициаторами раскола были реакционеры-монархисты. Эту группу возглавил обер-прокурор Святейшего Синода К.П. Победоносцев, к которому присоединились министр гос. имуществ М.Н. Островский (брат знаменитого драматурга) и главный редактор «Московских ведомостей» М.Н. Катков. Эта тройка, а также влиятельный царедворец князь А.П. Щербатов, сенатор Н.П. Шульц, генерал Р.А. Фадеев и еще ряд «мужественных добровольцев» считали, что «Священная дружина» создавалась ради ужесточения репрессивных мер по отношению к подпольщикам-террористам вплоть до их поголовного уничтожения. Сторонники К.П. Победоносцева настаивали: прямое назначение тайного

общества «мужественных добровольцев» – служить средством искоренения «террористической крамолы» под девизом «За монархию и порядок!» [42, с. 137].

### **Роль влиятельных царедворцев и «царской фамилии» в оппозиционном движении**

Под это знамя не хотели становиться те, кто понимал, что византийские управленческие традиции противоречат новым условиям после отмены крепостного права, т.к. жизнь пореформенной России требовала иных форм взаимодействия власти и подданных. Министр императорского двора И.И. Воронцов-Дашков, флигель-адъютант П.П. Шувалов, граф Н.П. Игнатьев, крупный уральский промышленник П.П. Демидов и другие уговаривали убежденных монархистов, доказывая, что в беспокойной атмосфере, чреватой потерей гарантий для сохранения жизни и статуса правящей аристократии, решающее значение получал именно элитный консенсус с ориентацией на уступки возбужденному обществу. Сановным вельможам не пристало воевать друг с другом перед лицом опасности, когда требовалось объединить усилия в поисках вариантов того, как сохраниться и сохранить за собой власть над страной, как вынудить российскую общественность «безвредно служить» делу успокоения и прогрессивного развития державы, ориентируясь на тягу оппозиции к переменам по образцам западной цивилизации. Лидерскую группу «умеренных консерваторов» поддерживали в схватке с «реакционерами» будущие «реформаторы» России, тоже входившие тогда в «Священную дружину», – будущий премьер-министр С.Ю. Витте, будущий председатель Госдумы М.В. Родзянко, будущий член Госсвета граф А.П. Игнатьев (брат Н.П. Игнатьева) и другие [42, с. 127]. Вся группировка в целом отстаивала идею формирования «представительного образа правления <...> – непременно с двумя палатами, из которых верхняя должна по возможности приближаться к английской палате лордов» [42, с. 137]. По мнению автора этой идеи П.П. Шувалова, российский парламент лишь внешне напоминал бы европейский, а по существу четкое разделение функций между обеими палатами превращало бы этот орган власти в квазипарламент: для «нижней палаты предполагалась роль социального “громоотвода”, на ее долю выпадали все шумные дискуссии и оппозиционные скандалы под пристальным вниманием бдительной прессы; “верхней палате” доставалась участь решающей

инстанции — здесь “высокое собрание” предавалось своим государственным ответственным обязанностям чинно, благородно, со знанием дела блокируя все неугодные элите законопроекты» [42, с. 138]. Только таким образом весь накал общественных страстей можно было поставить на службу правящей элите и под ее контроль. Меня лишь по форме почти все управленческие структуры, российские сановники получали беспрепятственную возможность самой-то властью не делиться вовсе, зато общественное мнение было бы удовлетворено даже видимостью стремления правящей власти к своему отождествлению с «народом», к повороту политической жизни в стране в сторону либерализма и демократии. Принцип деятельности квазипарламента позже был определен П.А. Столыпиным в виде следующей исчерпывающей формулы: «Что толку в том, <...> что успешно проведешь хороший закон через Государственную Думу, зная вперед, что в Государственном Совете его ожидает неминуемая пробка» [49, с. 12]. «Верхняя палата» не желала делиться властью с «нижней» еще и потому, что не собиралась передавать неизвестно в чьи руки право контролировать «все деликатные сферы влияния», а также распределять основные (в том числе и финансовые) ресурсы [42, с. 128]. Одним словом, «умеренные консерваторы» надеялись уговорить «реакционеров»: консолидировав верховную элиту и чуть-чуть потеснив на троне царя, все они общими усилиями могли бы добиться превращения самодержавной монархии в олигархическую диктатуру под видом либерально-демократического псевдопарламента.

Такие идеи у именитых царедворцев возникли неспроста. Дело в том, что «царская фамилия» к концу XIX столетия разрослась так, что достигла «тридцати лиц мужского пола разного возраста» [44, с. 279]. Наиболее активные из них были образованны, имели крупные состояния и хотели наравне с родственником-царем участвовать в решении государственных дел, влиять на внутреннюю и внешнюю политику России. Были и иные родовитые царедворцы, составлявшие всесильные придворные кланы, которым тоже не хватало власти. Все они помнили, что в допетровские времена суть правления на Руси формулировалась в каждом указе фразой: «Царь указал, и бояре приговорили» [54, с. 38]. Но эта коллегиальная на паритетных началах власть сменилась в стране на «императорскую» 22 октября 1721 г., когда в Троицком соборе Петербурга было оглашено «Прошение сенаторов царю Петру I о принятии им титула

“Отца Отечества, Императора Всероссийского, Петра Великого”» [30, с. 307]. С тех пор минуло почти полтора века, и монархическое правление за этот период не раз показывало свою несостоятельность. К тому же страшил прогноз Герцена: Россию ждет «либо старческое варварство скипетра, либо дикое варварство коммунизма; кровавая сабля или красный стяг» [60, с. 164]. Именно поэтому российским знатым вельможам из императорского дома захотелось в преддверии XX столетия вернуть все «на круги своя» и войти полноправно в государственную власть, а не быть просто родственниками властителя. Сочувствующее придворное окружение озаботилось составлением планов реализации этих притязаний и поисками той идеологической парадигмы, в которой и консервативная знать, и революционеры-заговорщики, и либералы-реформаторы нашли бы соответствие своим устремлениям.

Для этой роли как нельзя лучше подходила теория Маркса, поэтому «умеренные консерваторы» из «Священной дружины» «разрешили» обществу легально познакомиться с «Капиталом». Легализация марксизма, дающего представление о функционировании капиталистической макроэкономики, послужила средством подготовки общественного мнения к неизбежности перемен в организации власти якобы «по европейскому образцу». Расчет оказался точным, так как идея попала на благодатную почву: русская общественность, именовавшая себя передовой, тоже «сгорала властолюбием» [29, с. 123]. Очень быстро она обнаружила на страницах «Капитала» описание первооснов цивилизованного мироустройства, дающих понимание фундаментальных принципов демократического открытого общества. Поверившие в марксизм апологеты отечественного самосознания и самопознания на все лады стали восхвалять теорию Маркса как научную концепцию, настаивая на том, что только этому учению «удалось теоретически обосновать необходимость для России конституционного строя, и это обоснование было так блестяще, так оправдывалось событиями жизни, что очень скоро от старых народнических иллюзий не осталось и следа» [21, с. 4]. Однако вслед за периодом восхищения открытиями великого немца наступило время практического осмысления этих открытий. Замкнутые группы оппозиционных движений, возглавляемых «теоретиками-фантазерами», теперь оказались перед необходимостью определиться в тех идеологических установках марксизма, которые больше всего

соответствовали их типу политической социальности. В итоге сложилась удивительная ситуация: оппозиционные силы, поделившие себя на партии, поделили и теорию Маркса. Каждая политическая группировка стала ориентироваться на «свою» часть доктрины. **Либерально-демократические партии**, плененные успехами процветающей Европы, опирались на те главы «Капитала», где имелось теоретическое обоснование свержения монархического строя, а также где были исследованы механизмы перехода «к современному меновому индустриальному денежному хозяйству» [21, с. 5]. **Социал-демократов** интересовали главы, посвященные социалистической революции – следующему этапу после установления капиталистических отношений в стране. И либералы, и социал-демократы сотрудничали вплоть до II съезда РСДРП. Их объединяло «общее дело» – искоренение всех феодально-крепостнических организационных принципов: без свержения царизма и без обезземеливания крестьян не бывать в России свободному капиталистическому строю (что было важно для либеральной буржуазии), не бывать и могучему рабочему классу – могильщику эксплуататоров (что было в интересах социал-демократов). Толчком к развитию светлого будущего российские оппозиционные партии называли переход «от натурального, преимущественно земледельческого, быта» [21, с. 5] к индустриальному рыночному хозяйству: требовалось уничтожение «старой, прогнившей общины» [33, с. 266], этого «средневекового хлама» [33, с. 128], т.е. и те, и другие начало осуществления своих программ связывали с широкой капитализацией «дикой» и «лапотной» Руси, с экспроприацией коллективной собственности крестьян.

То, что процесс отрешения от средств производства и превращения в наемных рабочих может коснуться 85% населения страны и привести к непредсказуемым последствиям, в тот период либерал-социал-демократы, уже видевшие себя в роли главных спасителей «отсталой» России, просто не брали в расчет. «Радикальнее всех <...> была полуинтеллигенция, ни в чем не сомневающаяся и преисполненная уверенностью, что жизнь можно кроить и перекраивать по законам, точно установленным Марксом и его толковниками» [44, с. 313]. Эти «архитекторы» счастливого будущего России гордились своей миссией, уверенные, что, если даже марксизм как программа, зовущая к действию, был «разрешен сверху», то власть в империи и в самом деле беспомощна.



Ведь обращалась же она в августе 1878 г. с призывом «за содействием» к обществу в борьбе с терроризмом. Этот призыв появился в «Правительственном Вестнике» [44, с. 94] и выявил «всю растерянность правительства», привычки и взгляды которого «делали его неспособным считаться с естественной эволюцией идей, пережитых всеми народами Европы, опередившими Россию своей культурой, своим политическим и общественным развитием. История Европы дает обширный материал примеров, которыми могло бы пользоваться русское правительство, если бы оно более вдумчиво относилось к фактам, представлявшим опасность для спокойного развития страны и даже для существования самого правительства. Но оно было преисполнено уверенности в силе своей администрации и жандармерии, и в полном невежестве народной массы, которая якобы еще долго будет чужда идеям права, свободы, равенства и парламентского аппарата “словесной болтовни” и либеральных фраз. Поэтому русская внутренняя политика заключалась не в успокоении и не в постепенных уступках духу времени, а в репрессиях и возбуждении ими крайнего революционного действия» [44, с. 90-91], – таков был вердикт российских либералов, которые вскоре на некоторое время сменили гнев на милость в связи с тем, что не только легальная печать при «попустительстве» правительства запестрела публикациями о теории Маркса, а издатели не успевали удовлетворить спрос на выпуск «Капитала», но в 1882 г. произошло вдобавок и вовсе нечто экстраординарное: сам флигель-адъютант Его Императорского Величества П.П. Шувалов, один из главных идеологов «умеренных консерваторов» «Священной дружины», переслал с курьерской почтой И.И. Петрункевичу, известному деятелю либеральной оппозиции, не что-нибудь, а именно «конституционный проект с разделением России на избирательные округа и двухпалатной системой представительства» [42, с. 136]. Сам Петрункевич об этом событии в своих мемуарах писал так: «Гр. Шувалов выразил желание познакомиться со мною и побеседовать о положении России. Я знал, что он вел какие-то переговоры с Гальцевым (активным участником земского движения с момента его зарождения – А.Л.) в Москве и выдавал субсидии заграничной прессе, поддерживавшей идею конституционной монархии в России <...>. В условленный вечер он пришел, и мы познакомились. <...> Весь вечер мы говорили о политическом положении России и о необходимости конституционной реформой заменить самодержавие. <...>

Конституцию он мыслит в аристократической форме, с палатой англо-русских лордов. <...> Он придавал большое значение местному самоуправлению с усилением влияния не дворянства вообще, а аристократии. На следующий день он прислал мне свою записку по этому вопросу, недостаточно разработанную, чтобы можно было составить ясное представление, каким образом он полагал возможным на русской почве строить подобие английского порядка <...>, переоценивал свою среду, он считал ее способной приять конституционный порядок, прежде всего лишаящий ее тех благ земных, которые на нее лились с царского престола и представляли ей так много привилегий. <...> Известно, что попытка аристократической группы, так называемой “священной дружины”, с гр. Воронцовым-Дашковым, министром Двора, и гр. Шуваловым во главе, свергнуть гр. Толстого окончилась полной неудачей и удалением от двора гр. Шувалова, вернувшегося к своим занятиям химией, кажется, его научной специальностью, и сельским хозяйством» [44, с. 164].

И.И. Петрункевич допустил здесь по неосведомленности неточность: Д.А. Толстой потеснил на политической арене графа Воронцова-Дашкова и его единомышленников, когда открылось, что те организовывали тайные встречи не только с «конституционалистами», но и с «террористами». Сразу после создания «Священной дружины» в 1881 г. по поручению лидеров ее более либерального крыла директор полицейского департамента В.К. Плеве провел зондажные переговоры с арестованными О.В. Любатовичем и А.М. Романенко. Будущему министру внутренних дел было предписано выяснить, на каких условиях террористы-подпольщики могли бы пойти на компромисс с властями [42, с. 132]. Затем состоялось еще несколько этапов переговоров с «Народной волей», где посредническую роль выполнил тифлисский журналист Н.Я. Николадзе, записавший подробности этих встреч в воспоминаниях «Переговоры “Священной дружины” с партией “Народной Волей” в 1882 году». Николадзе сообщил о готовности правительства пойти на уступки при условии отказа экстремистской партии от подрывной подпольной деятельности. Была уже выработана платформа для соглашения (мораторий на террор в обмен на социальные реформы, на расширение прав печати и земства, а также на освобождение Чернышевского), как всю эту переговорную деятельность пришлось свернуть [42, с. 132-134].

Внутри «Священной дружины» разразился скандал. Воронцов-Дашков пытался доказать, что целью его крыла была попытка «расколоть, дезорганизовать и отфильтровать революционную среду с таким прицелом, чтобы выделить из радикальной среды более или менее приемлемых актеров для парламентского спектакля» [42, с. 137]. «Жестких» консерваторов такая деятельность разозлила. По Петербургу поползли слухи о разделении элиты «на два лагеря, где более вражды, нежели у турок с русскими. Одни – за самодержавие, другие – <...> за конституцию» [4, с. 73]. Эти распри прекратил Александр III указом о роспуске «Священной дружины» в ноябре 1882 г. [42, с. 140].

Но дело было сделано: шаги, предпринятые сановной знатью для сближения с противниками самодержавия, были расценены оппозицией как проявление слабости верхних эшелонов власти. После встреч с высокопоставленными особами бунтующая интеллигенция еще острее ощутила свою значительность. В самом «хождении» правящей элиты в оппозиционный интеллигентский «народ» она видела лишь поиски властями последнего шанса спасти цезаризм (светскую форму абсолютной монархии), хотя бы наполовину ограничив царскую власть, поделившись ею с обществом, поэтому даже мысли не могла допустить, что в аристократических тайных планах ей отводилась роль шумных статистов в спектакле под названием «Будем менять, ничего не меняя».

### **Община – «форма необычайно стойкая»**

Российская общественность свято верила в свою миссию, наивно полагая, что монополия на прогресс есть только у нее, ибо самодержавие бессильно и безвольно, народ темен, а без победы либеральных идей Россия обречена. Никакого иного мнения европейски ориентированная оппозиция не признавала.

Между тем, на Западе все чаще стали появляться литературные очерки и серьезные научные труды о России, в которых утверждалось, что, хотя эта империя действительно отличается от западноевропейского мира, но «речь идет о несходных, а не об «отсталых» государственных формах» [43, с. 13], не о покорном, бездумном и безынициативном, а о «потрясающем» народе, не о нищей стране, а о могущественной державе, природные ресурсы которой «невозможно измерить <...>, это огромный резервуар, ожидающий труда и предприимчивости» [60, с. 207]. Разрозненные выводы ученых-иностранцев о том, что такое есть эта

восточноевропейская империя, сводились к такой компактной формулировке: «Россия является великой цивилизованной страной. В пределах своих границ она обладает несравненными по богатству и разнообразию ресурсами. Ее народ честен, миролюбив и нормально трудолюбив. Ее плодородные земли способны производить зерновые в достаточном количестве, чтобы гарантированно прокормить ее нынешнее население, а скот может давать мясные товары, которых хватит для всей Европы; ее прибрежные воды полны рыбой; у нее самые обширные в мире леса; она в изобилии имеет все базовые материалы и металлы, включая уголь, железную руду, платину и нефть» [60, с. 205]. И когда говорят, что русский народ «страдает отсутствием способности к эффективной организации» [60, с. 205], то грех этот должен быть возложен не на народ, а на некомпетентное управление страной, на власть, сверху донизу зараженную коррупцией [60, с. 177]. Если бы крестьянская община не взяла на себя большинство социально-организационных функций, чтобы компенсировать несовершенство централизованного управления в условиях территориальной обширности, то вряд ли Россия сохранила бы государственность. Община освободила власть от забот о воспитании подрастающего поколения — именно община формировала у детей представления о нравственной ответственности человека за свои поступки, прививала трудовые навыки, бережливое отношение к природе, обучала ремеслам, хлебопашеству, ведению хозяйства и т.д. Община брала на себя за власть также «функции и страхования, и пенсионных выплат, и социального обеспечения. Проще говоря, старых, нетрудоспособных, несовершеннолетних, оставшихся без кормильцев, община старательно содержала» [5, с. 73], ибо она была исторически поставлена в такие рамки, когда ее членам приходилось выживать благодаря поддержке друг друга, не надеясь ни на какую власть: это был свой особый мир в окружении не всегда дружественном, в котором сохранить себя можно было только сообща. «Два или три века мяли суровые руки славянское тесто, били, ломали, обламывали непокорную стихию и выковали форму необычайно стойкую», [60, с. 48] — так образно характеризовал Г.П. Федотов общину — такую организацию общественного бытия, которая изначально не могла быть однородным строением, а являлась иерархическим, ступенчатым образованием, где обеспечивалось максимально плодотворное управление,

позволявшее ставить «надлежащего человека в надлежащее место». Именно поэтому уравнительность в качестве основного принципа взаимодействия членов общины не могла получить приоритетного значения: здесь в единое целое объединялись обладатели разных знаний и умений, бывших критериями ценности и авторитета каждой личности. Во главе общины находились лица, которые признавались лидерами и наставниками сугубо по их личным качествам и деловым достоинствам. Здесь положен в основу совсем другой, чем в демократии, смысл: в общине нельзя попасть в лидеры, польстив массам или наобещав с три короба, – здесь главная роль принадлежит подлинно объективной авторитетности избираемого. Внутри общины власть человека не потому авторитетна, что она есть власть, а потому она власть, что она авторитетна.

Кроме того, в общине очень важно, чтобы нравственную ответственность друг перед другом одинаково имели и личность, и общество. Внутри общины всякое «я» укореняется в «мы» в полном соответствии с индивидуальными способностями и авторитетом личности, ее ролевой ценностью. Здесь царствует не столько равенство прав и притязаний, сколько равенство обязанностей по принципу «noblesse oblige» («Положение обязывает» *фр.*), который вовсе не противоречит иерархическому распределению полномочий: каждый, находясь на определенном уровне общинной иерархии, выполняет свои обязанности наравне со всеми и тем служит общему делу. Этот порядок, организующий жизнь общины, является той мерой дисциплины и свободы, коллективного управления и личной самостоятельности, которая, хотя и не может сделать земную жизнь людей раем, но и не позволит ей стать адом в трудных климатических и общественно-политических условиях.

Призывы демократов «за равенство людей» и лозунги либералов «за свободу прав личности» не принимались крестьянами всерьез совсем не потому, что народ был «политически незрел», а потому, что после петровского разрушения «русской структуры» крестьянство, замордованное рабским положением, жило одной лишь рожденной в глубинах народно-массового сознания «блаженной» мечтой «о некоем чаемом мире, в котором нет “ни купли, ни продажи, ни свару, ни боя, ни зависти, ни вельмож, ни татьбы, ни разбоя”» [80, с. 224]. Эта мечта ушла «в самый инстинкт русского народа» [80, с. 224] и не оставила места никаким иным идеям и лозунгам. Каждый член общины сторонился политической

борьбы: призывы либералов и демократов он относил изначально к разряду ложных идей, так как он по опыту знал, что приоритет воли большинства без учета интересов меньшинства неизменно приводил к несправедливости: поскольку на месте меньшинства волею особых обстоятельств мог оказаться каждый, то он тогда оставался один на один со своей бедой, без поддержки, что противоречило принципам общины; а свобода личности могла обернуться вседозволенностью, неуправляемой анархией во взаимодействии и уничтожением привычного общественного порядка, что грозило полным распадом общины. Вот почему внутри общины столь цепко держались за такое равновесие принципов воли большинства и свободы личности, при котором умаление одного предполагало умаление другого ради справедливости и выживания в жестком и несправедливом мире.

Все это ставило русскую общину в особое положение, которое отличало ее от традиционных форм самоуправления Востока и Запада и показывало, сколь «неплох этот народ, который при всех неурядицах и под страшным гнетом XVII и XVIII века сумел не заснуть как западный *pausan* или *Bauer* или как польский *chlōp* (все это – названия крестьянина, земледельца на французском, немецком и польском языках – А.Л.), – а напротив того, <...> сам, один-одинехонек, на свой салтык и на свою ответственность правды ищет, как сам и Сибирь завоевал, и русское царство отстоял, сам свою архитектуру даже создал и свое искусство» [26, с. 191]. Образованные господа России на протяжении веков обвиняли русского мужика в лени, в отсутствии тяги к просвещению и неспособности освоить передовую культуру труда, и эта позиция объясняется их высокомерным непониманием собственного народа, его положения и особых исторических, социально-экономических и природно-климатических особенностей русской жизни. Сравнение с Западом было недопустимым: Европа в хозяйственной практике не сталкивалась с такими особенностями, как суровый климат и технологическая отсталость, которые пагубно влияли на интенсификацию труда, многократно увеличивая нагрузку на долю каждого работника. Европа не знала таких сжатых сроков земледельческих работ, какие имели место в России, – всего около ста дней, не зря называемых в народе «страдной порой», временем мужицкого страдания; Европа не имела и таких просторов, преодолевать которые основной массе населения приходилось чаще всего пешком; Европа не знала и таких холодов, с какими

сталкивалось российское население, – а это миллионы кубометров ежегодно запасаемых дров, и т.д., и т.д. Словом, европейцам для достижения сходных результатов в труде не нужно было столько усилий и терпения, сколько требовалось русскому человеку, жизнь которого на самом деле являла собой беспримерный образец стойкого преодоления тяжелых климатических условий. Нежелание объективно заниматься сравнительной корреляцией между мерой трудовых затрат и мерой получаемой продукции в России и Европе выработало у русской власти привычку к подмене понятий в оценке эффективности работы подданных: низкая производительность их труда объяснялась на протяжении веков представителями правящей элиты как результат нерасторопности, лени, нерачительности и бесхозяйственности русского мужика, хотя дело было в обычном непонимании властями того, что европейцу хлеб насущный доставался неизмеримо легче. Русским нечего было и думать равняться на Запад еще и по той причине, что там основной было машинное производство, а у нас – главным образом – кустарное, ручное: «количество “лошадиных сил” германской промышленности превышало наше в 13 раз, французской – в 10 раз. То, что немцы и французы делали машинным способом, мы должны были делать вручную. А это требовало в несколько раз большего количества рабочих рук» [29, с. 247]. Если учесть, что  $\frac{1}{3}$  крестьянских хозяйств к тому же была *безлошадной*, то можно себе представить, во что русскому мужику обходился его урожай, уход за домом и хозяйством. Несмотря на то, что российский крестьянин обычно начинал работу и зимой, и летом «в три или четыре часа пополудни», а спать ложился не ранее одиннадцати вечера, урожайность на поле была невысокой и недостаточной для получения не только ли прибавочного, но даже необходимого продукта, и сельское население России в большинстве своем жило в бедности. При этом в семье надрывно работали все – от мала до велика: мальчики с 9 – 10 лет привлекались к работам в хлеву, к вывозу навоза в поле, к боронованию, ремонту жилья; девочки пряли и ткали, рукодельничали, нянчили младших, помогали матери по хозяйству. В зимнее время крестьянин тоже был в трудах и заботах: он и извозничал, и лес валил, и охотился, и рыбу ловил, и кустарничал. К тому же предметом особой тревоги было стойловое содержание скота, которое в Нечерноземья составляло 180 – 212 суток: заготовить на такой срок полноценный корм для

домашних животных силами одной крестьянской семьи было делом сложным [71, с. 76 – 87]. Именно эти условия выработали у земледельцев России привычку работать сообща: иначе крестьянина задавило бы чувство обреченности, пассивное отношение к собственному хозяйству, безразличие к удручающей перспективе жизни всей его семьи, «совершенное изнеможение», переходящее в ожесточение или в полное равнодушие, когда вся мужицкая семья «смерть свою за покой считает» [71, с. 86].

Положение, как правило, усугублялось индифферентным отношением господ к трудностям сельского работника. К тому же имела место подмена понятий: низкая производительность труда земледельца на протяжении веков объяснялась представителями правящих сословий как результат нерасторопности и бесхозяйственности мужика. Так, в XVIII в. Артемий Волинский предостерегал своего дворецкого Ивана Немчинова от попустительства тем из холопов-«плутов», «что нарочно, хотя бы он мог и три лошади держать, однако же держит только одну, и ту бездельную, чтоб <...> только меньше ему работать» [71, с. 86]. В «Инструкциях об управлении помещичьим хозяйством, 1755 – 1757 гг.» названы главными чертами русских крестьян «леность, обман, ложь, воровство», которые «будто наследственно в них положены»: «Приготовленное общими трудами – крадут, отданного для сбережения прибрать, вычистить, вымазать, вымыть, высушить, починить – не хотят. <...> Милости, показанной к ним в награждении хлебом, деньгами, одеждою, скотом, свободою не помнят и вместо благодарности и заслуг в грубость, в злобу и хитрость входят, о Божьем наказании не помышляют» [71, с. 85-86].

Это мнение стало расхожим и, повторяясь многократно, сделалось идеологическим клише для всех политических лидеров России XIX века. Многим из них казалось, что достаточно крестьян освободить от крепостной зависимости, дать клочок земли и денег взаймы из банка – и Россия через год-другой расцветет. А для народа это было очередное испытание с неясным, как в сказке, заданием – пойдти туда, не знаю куда, сделай то, не знаю что, но чтобы было! Организаторы преобразований в России никогда не считались как с трудностями, которые они громоздили на плечи собственному народу, так и с его жертвами, что возлагались на алтарь непродуманных решений и проектов. Русский народ платил огромную цену за все, на что призывала его власть – на войну ли,



где кровь воина-крестьянина лилась рекой не за свои интересы, на строительство ли столицы или железной дороги, которые создавались на «косточках русских». Российская интеллигенция, мечтавшая поскорее приобщиться к Западу и сетовавшая на «отсталый» народ, который своей «дикостью» и нерасторопностью тормозил это движение, очевидно, не давала себе отчета в том, что «ни в одной стране Запада невозможно было бы построить национальную дорогу на костях налогоплательщиков и этим возгордиться» [60, с. 202]. Ни одна цивилизованная страна Запада не потерпела бы и такой управленческий аппарат, который в богатейшей стране мира держал 85% своих сограждан в рабском, нищенском состоянии и при этом накопил невиданные для Европы долги перед иностранными банками. 40% акций российских банков принадлежало иностранцам, а, как известно, «иностраный собственник *вывозит* прибыль к себе домой – и туда же, за границу, уходят проценты по кредитам <...>. В 1861 – 1866 гг. из России вывезли золота не меньше, чем на 455 миллионов рублей. В пересчете на драгоценный металл это многие *тонны* <...>. В 1861 г., накануне освобождения крестьян, средний доход на душу населения в России составлял 40% от германского и 16% от американского» [5, с. 71-72]. Совершенно очевидно, что, начиная реформу 1861 г., царь и государственный управленческий аппарат вкупе с помощниками-общественниками должны были бы при освобождении крестьян ориентироваться не на то, чтобы с себя «все обязанности свалить, а все свои права увековечить», опираясь в том числе и на «Капитал» Маркса, где подробно рассказано, как разбогатеть, экспроприировав многих. Запад через это прошел, а чем Россия хуже?!

### **Маркс трижды убеждал русских: теория «Капитала» – не для России**

*Считал ли сам Маркс возможным использовать теоретические положения «Капитала» в российской практике – вот вопрос вопросов!*

Оказывается, немецкий ученый *трижды* давал **отрицательный** ответ на этот вопрос. **Первый** ответ относился к ноябрю 1877 г., когда в письме в редакцию «Отечественных Записок» Маркс предостерегал от трафаретного подхода к его доктрине, поскольку «события поразительно аналогичные, но происходящие в различной исторической обстановке» [38, с. 121], могут привести «к совершенно разным результатам» [38, с. 121].

Поэтому свое аналитическое исследование о возникновении капитализма на Западе Маркс настойчиво рекомендовал не превращать «в историко-философскую теорию о всеобщем пути, по которому роковым образом обречены идти все народы, каковы бы ни были исторические условия, в которых они оказываются» [38, с. 120]. В противном случае, по мнению Маркса, русские политики, вооруженные марксизмом, могли извлечь из его теории «только следующее. Если Россия имеет тенденцию стать капиталистической нацией по образцу наций Западной Европы, – а за последние годы она немало трудилась в этом направлении, – она не достигнет этого, не превратив предварительно значительной части своих крестьян в пролетариев; а после этого, уже очутившись в лоне капиталистического строя, она будет подчинена его неумолимым законам» [38, с. 120].

Но оправдано ли это? Мог ли соответствовать этот почин историческим данным России и интересам ее населения? Маркс, «не оставляя места для догадок», ответил на это «без обиняков»: «Я пришел к такому выводу. Если Россия будет продолжать идти по тому пути, по которому она следовала с 1861 года, *то она упустила наилучший случай* (курсив мой – А.Л.), который история когда-либо предоставляла какому-либо народу» [38, с. 119].

Это письмо Маркса, написанное в 1877 г., оказалось в числе «забытых» в истории российской социал-демократии. В 1884 г. оно попало в руки группы «Освобождение труда», в 1886 г. было опубликовано в женевском «Вестнике Народной Воли» №5, в 1888 г. – перепечатано на русском языке «Юридическим вестником» [48, с. 560, прим. 63], который вскоре прекратил свое существование из-за усилившейся цензуры [69]. В социал-демократической прессе письмо так и не появилось, хотя Г.В. Плеханов, считавшийся первым русским марксистом, о его существовании *безусловно знал*. Молодому поколению, которое в массе своей окунулось в социал-демократическое движение почти на десятилетие позже, вряд ли были доступны публикации 1886 и 1888 годов об особом взгляде Маркса на развитие России и о недопустимости использования его доктрины в качестве «универсальной отмычки» [38, с. 121] к пониманию исторических процессов.

**Второй** отрицательный ответ имел место в марте 1881 г. в письме Вере Засулич, которую интересовало мнение ученого о перспективах развития России и о судьбе русской крестьянской общины [48, с. 576, прим. 164]. Ответ Маркса был краток:

в «Капитале» анализировался процесс превращения «одной формы частной собственности в другую форму частной собственности» [37, с. 251], имевший место в Западной Европе. Подобный процесс, по мнению Маркса, невозможен в отношении 85% жителей России, так как «у русских <...> крестьян пришлось бы <...> превратить их общую собственность в частную собственность» [37, с. 251], – а это уже совсем иные обстоятельства и иные результаты. Содержание ответа Вере Засулич не вызывало никаких сомнений: анализ, представленный в «Капитале», не годится на все внешне похожие случаи общественной жизни; в России иные исторические условия, а значит, у нее и путь иной; выводы целенаправленного исследования российской проблематики говорят о необходимости связать перспективные успехи этой страны не с развитием капиталистических отношений, как это было на Западе, а с позитивными переменами в русской земледельческой общине, которая, по убеждению Маркса, «является точкой опоры социального возрождения России» [37, с. 251].

Этот ответ Маркса Вере Засулич попал в руки группы «Освобождение труда». За исключением Г.В. Плеханова и его очень близкого окружения, русская общественность не могла знать о существовании этого письма вплоть до 1924 г., когда впервые оно попало в I книгу «Архива К. Маркса и Ф. Энгельса».

**Третий** отрицательный ответ, отражавший точку зрения Карла Маркса на пути развития России, находился в предисловии ко второму русскому изданию «Манифеста Коммунистической партии», написанном по просьбе Г.В. Плеханова в январе 1882 г. и опубликованном на страницах «Народной Воли» и в издательстве «Русской социально-революционной библиотеки». Маркс в этом предисловии писал: «Мы находим в России большую половину земли в общинном владении крестьян. Спрашивается теперь: может ли русская община <...> непосредственно перейти в высшую коммунистическую форму общего владения? Или, напротив, она должна пережить сначала тот же процесс разложения, который присущ историческому развитию Запада? Единственно возможный в настоящее время ответ на этот вопрос заключается в следующем. Если русская революция послужит сигналом пролетарской революции на Западе, так что обе они дополняют друг друга, то современная русская общинная собственность на землю может явиться исходным пунктом коммунистического развития» [40, с. 305].

Именно это предисловие первым из трех перечисленных посланий оказалось в руках лидеров группы «Освобождение труда», и его текст не мог не привести их в замешательство: организация только что отказалась от народнических идей, отвернулась от теории «крестьянского социализма», поверив в марксистскую доктрину, как вдруг столкнулась с мнением самого Карла Маркса, которое никоим образом не вписывалось в рамки того, что принято было считать марксизмом. Возникало впечатление, что автор «Капитала» противоречит сам себе. Во-первых, какое отношение имела общинная собственность к коммунистическому развитию, если научная теория Маркса называла революционным классом не крестьянство, а пролетариат, вообще лишенный какой бы то ни было собственности? Во-вторых, о какой русской революции (тем более в качестве предтечи для западной!) могла идти речь, если рабочий класс России слаб и неразвит, чтобы стать могильщиком эксплуататорского строя? Ведь сам Маркс учил, что ни одна экономическая формация не исчезнет раньше, чем разовьются производительные силы, способные ее погубить!

### **Кто скрыл особую позицию Маркса о перспективах России?**

Прояснить ситуацию могла бы только личная встреча Плеханова с Марксом. У Георгия Валентиновича до момента смерти немецкого ученого был в запасе еще целый год. Рассказывают, «каким ударом для него (Плеханова – А.Л.) был в 1882 году первоапрельский розыгрыш его друзей, сказавших, что Маркс приехал в Кларан и можно будет наконец поговорить с ним по всем интересующим русских революционеров вопросам. Увы, известие оказалось всего лишь шуткой» [59, с. 265]. Плеханов в то время жил в Женеве, а летом 1882 г. переехал в Берн. Но когда Маркс в этом же году (26 сентября 1882 г.) нанес визит в Женеву немецкому филологу и историку И.Ф. Беккеру, Плеханов не нашел возможным преодолеть – по российским меркам – незначительное расстояние от Берна до Женевы, чтобы встретиться с учителем на швейцарской территории, хотя Маркс со многими из России имел встречи и не уклонялся от общения. Трудно сказать, чем руководствовался Плеханов, который уже знал о том, что К. Маркс болен, причем так тяжело, что у знавших его наблюдалось серьезное опасение за его жизнь. Думается, тому, что встреча не состоялась, есть несколько объяснений. Во-первых, Плеханов наверняка отдавал себе отчет в том, насколько

низок уровень его компетентности: у него за плечами не было ничего, кроме двух незаконченных курсов Петербургского горного института [23, с. 30; 59, с. 244-245], да амбициозной самонадеянности 25-летнего молодого человека, прослывшего в кругу соратников главным толкователем марксизма в России [3, с. 145]. Во-вторых, Г.В. Плеханов вполне мог узнать о резко отрицательном отношении Маркса к «чернопередельцам». Основатель марксизма не только говорил об этом с представителями русских революционных кругов, но даже в письмах неличеприятно высказывался о характере деятельности российских революционеров-народников: «Эти люди, – писал он в Америку 5 ноября 1880 г. Фридриху Зорге о «народовольцах» и «чернопередельцах», – являются тем, кто добровольно покинул Россию, – образуют, в противоположность террористам, рискующим собственной шкурой, так называемую партию пропаганды (чтобы вести пропаганду в России, они уезжают в Женеву! что за *qui pro quo* (нелепость – А.Л.!) Эти господа против всякой революционно-политической деятельности. Россия должна одним махом перебраться в анархистско-коммунистически-атеистический рай! Пока же они готовят этот прыжок нудным доктринерством» [39, с. 380]. Оппонировать столь убежденному взгляду было не по силам молодому пропагандисту, который не имел глубоких систематических знаний и не обладал соответствующим политическим мышлением, поэтому представиться основателю Интернационала вчерашним «чернопередельцем» было психологически некомфортно для амбициозного Плеханова. В-третьих, Георгий Валентинович, поверив в себя как в первое лицо российской социал-демократии, готовил в то время к изданию плоды своих размышлений – работу «Социализм и политическая борьба», где «с марксистских позиций» доказывал несостоятельность идей «крестьянского социализма» и подготавливал своих соратников к осознанию того, что Россия уже на пути к капитализму. Встреча с Марксом могла перечеркнуть все выводы теоретика Плеханова и перевести его в разряд «проигравших политиков» – тех многочисленных исследователей российской действительности, которые свои скороспелые представления и умунастроения стремились выдать за научный анализ. Плеханов наверняка заранее знал всю аргументацию К. Маркса со слов П.Л. Лаврова, который неоднократно выполнял

роль посредника между российскими революционерами и немецким ученым в надежде разработать единую теорию русского социализма и общую программу скоординированных действий. Лавров также оказывал поддержку едва оперившимся российским социал-демократам, привлекая по просьбе Плеханова автора «Манифеста Коммунистической партии» к написанию предисловия к русскому переводу этого программного документа международного революционного движения. С создателем «Капитала» Петр Лаврович Лавров сблизился еще в 1871 г. и, испытывая на себе большое влияние этого мыслителя, оказался одновременно и оппонентом, и невольным пропагандистом идей Маркса, получаемых, что называется, из первых рук: точка зрения создателя марксистской теории на будущее России интересовала всех, а Лавров не делал тайны из полученных сведений. В связи с этим обстоятельством уместно предположить, что в группе «Освобождение труда», увлеченно штудировавшей «Капитал», в 1881 г. накопилось ощущение недоверия: а не выдает ли народник П.Л. Лавров свои взгляды за идеи Маркса об особом некапиталистическом пути развития России? Возможно, письмо Веры Засулич к немецкому ученому было завуалированной проверкой добросовестности русского социалиста-народника Лаврова. Такое предположение уместно, потому что прием закулисной интриги в эмигрантской среде не был редкостью. Поскольку ответ Маркса последовал спустя продолжительное время (более чем через три недели), то Георгий Валентинович со своими такими же нетерпеливыми соратниками могли посчитать, что их подозрения насчет Лаврова были обоснованными, и Плеханов, желая дать бой народничеству с истинно марксистских позиций, спокойно продолжил работу над брошюрой «Социализм и политическая борьба». А тут вдруг, как на грех, подоспело предисловие Маркса к «Манифесту», затем последовал и ответ Вере Засулич. Таким образом, достоверность пересказов П.Л. Лаврова подтвердилась. Однако К. Маркс вскоре умер, а с Лавровым у Плеханова и его группы пути-дороги разошлись.

Таким образом, лидерское положение Плеханова в российской социал-демократии в сочетании с периодически проявлявшейся некомпетентностью по общемировоззренческим вопросам (достаточно посмотреть примечания к собраниям сочинений Плеханова, где пометка «автор ошибочно утверждал» встречается систематически) и склонностью к «непозволительным» приемам для насаждения своей точки зрения под видом идей марксизма (что было многократно отмечено в работах В.И. Ленина, А.А. Богданова

и других) допускает предположение, что Георгий Валентинович сознательно не посвятил широкие партийные круги в существование особой позиции Маркса, и тяжесть этого решения лежит именно на Плеханове. Косвенным подтверждением этого вывода служит еще один факт: «в 1911 году члены группы “Освобождение труда” на запрос меньшевика Д.Б. Рязанова о <...> письме Маркса, черновики которого были обнаружены им у Лафарга, ответили, что ничего не знают о таком документе» [59, с. 263], хотя это письмо «долгие годы лежало в старой корзине для бумаг у П.Б. Аксельрода», который хранил его в связке других документов, полученных от В.И. Засулич [59, с. 263]. Следствием умолчания было то, что к разговору о той роли общины, какая была отмечена Марксом в предисловии к «Манифесту», социал-демократы больше не возвращались: они были убеждены, что капитализм всюду зашагал по стране, а община в России доживает последние дни и окончательно исчезнет вместе с самодержавием после победы революции. Зато остальные строки предисловия давали повод для многолетнего ликования на тему о том, что Маркс и Энгельс еще в 1882 г. «были полны самой радужной веры в русскую революцию и ее могучее всемирное значение» [47, с. XXV].

Но Маркс-то говорил совсем о другом: он не считал возможным использовать теоретические положения «Капитала» в российской практике.

### **Маркс о земледельческих общинах**

Это мнение возникло у Маркса в 1877 г. и укреплялось в последующие годы благодаря «специальным изысканиям». Предварительно выучив русский язык, он на протяжении 8 лет целенаправленно исследовал социально-экономические и исторические условия России по первоисточникам. Казалось бы, для получения представлений достаточно было ознакомиться с сообщениями о состоянии финансов и сельского хозяйства в стране, составленными русским экономистом Н.Ф. Данилевским, тем более, что эти сообщения базировались на сопоставлении официальной статистики и земских сведений. Но Маркс хотел иметь объемное представление о хозяйственной структуре России, поэтому параллельно проанализировал еще и выводы IV выпуска «Военно-статистического сборника», изданного русским Генеральным штабом, проштудировал 10 томов «Трудов податной комиссии» и «Свод отзывов губернских присутствий по крестьянским делам».

Помимо этого, Маркс с большим вниманием отнесся к монографиям и научным исследованиям видных русских экономистов XIX в. В процессе разработки указанной тематики Маркс обращался также и к «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина, и к «Историческим монографиям и исследованиям» Н.И. Костомарова, и к произведениям Н.Г. Чернышевского, М.Е. Салтыкова-Щедрина. Подробно, делая пометки и выписки, Маркс исследовал труды ученых – Семева «Крестьяне в царствование императрицы Екатерины II», Исаева «Артели в России», Воронцова «Судьба капитализма в России», Скребицкого «Крестьянское дело и царствование Александра II», Головачева «Десять лет реформы. 1861 – 1871», Янсона «Опыт статистического исследования о крестьянских наделах и платежах», Скалдина «В захолустье и в столице», Гакстгаузена «Сельское устройство России», Патлаевского «Денежный рынок в России от 1700 до 1762», Каблукова «Очерк хозяйства частных землевладельцев», Ковалевского «Общинное землевладение, причины, ход и последствия его разложения» [14, с. 599, 600, 603, 609, 610, 612, 614, 615, 616, 617, 620, 621, 623]. Словом, Маркс всесторонне изучал проблемную тему России. Литературы о социально-экономическом положении этой страны у Маркса было много: он ее выделил особо, назвав «Russishes in my bookshelf» («Русское на моей книжной полке») [14, с. 619]. Не удовлетворившись изучением книг с этой полки, он уточнял полученную информацию во время личных встреч с П.Л. Лавровым, Даниельсоном, Ковалевским, Утиным, Гартманом, Морозовым, Гиршем и другими, вел активную переписку со многими из них. Осмысление двухтомного труда А.И. Васильчикова «Землевладение и земледелие в России и других европейских государствах», равно как и всех перечисленных выше работ, шло через сопоставление с трудами западноевропейских ученых. Анализ исследований Г.П. Маурера, Г. Хансена, Ф. Демелича, О. Утешновича, Ст. Янчини, Дж. Мани, Дж. Фира, У. Карлтона, Г. Мейна, Ф. Карданса, Л. Кремазо, посвященных изучению земледельческой общины в странах Европы и в Индии, потребовал расширения знаний по всемирной истории, и Маркс для получения информации о роли крестьянской общины в истории народов всего Европейского континента, о причинах и условиях уничтожения ее в ходе разложения феодализма воспользовался фактическим материалом, который нашел в 18-томной «Всемирной истории» Шлоссера,



в «Истории России» Келли, в «Истории России и Петра Великого» Сегюра, в работах Бота, Коббета и других известных западноевропейских историков [14, с. 601, 603, 611, 619, 620, 624]. Результатом изучения и сравнительного анализа событий общеевропейского масштаба за период с I в. до н.э. по XVII в. н.э. было появление четырех тетрадей «Хронологических выписок» Маркса объемом около 105 печатных листов [14, с. 620].

Исторические данные укрепили ученого в мысли о том, что земледельческие общины – обладательницы коллективной земельной собственности – не были причиной отсталости стран и погибали не потому, что изжили себя, не в результате капитуляции под натиском прогрессивных перемен: все они умирали «насильственной смертью» [36, с. 403] из-за внешних и внутренних войн или так, как это было в Ост-Индии, где «уничтожение общинной собственности на землю было лишь актом английского вандализма, толкавшим туземный народ не вперед, а назад» [36, с. 417] – к необратимой социальной и физиологической деградации. Степень этой деградации напрямую зависела от скорости и масштабности разрушений: чем больше населения было охвачено общинным порядком и чем скоростистее оно подвергалось губительному воздействию, тем трагичнее для всей нации оказывались последствия, вплоть до исчезновения ее с лица Земли.

«В Западной Европе смерть общинного землевладения и рождение капиталистического производства отделены друг от друга громадным промежутком времени, охватывающим целый ряд последовательных экономических революций и эволюций, из которых капиталистическое производство является лишь наиболее близкой к нам» [36, с. 412]. Разорение крестьянства носило поэтапный характер. К тому же массовая экспроприация землевладельцев пришлась на время урбанизации Европы, когда ряды крестьянства уже поредели настолько, что их интересами правители могли без опаски пренебречь. И все же, несмотря на столь смягченный вариант, период экономической ломки тем не менее остался в исторической памяти европейцев как время тяжелейшего испытания: капиталистический способ производства утверждался на бедственном положении тысяч разоренных земледельцев, познавших муки безработицы, нищеты, голода и моральной деградации.

Англия, например, период коренной экономической ломки переживала в 60-е годы XVIII столетия. Тогда лицо английской деревни изменилось до неузнаваемости: после огораживания общинных земель одна часть обезземеленных крестьян перешла

в разряд фермеров-арендаторов – людей, рабски приниженных, всецело зависящих от произвола лендлордов, в пользу которых парламентом был принят закон о переделе земли; другая часть была насильственно согнана с родных полей и оказалась в поисках работы в городах, где процветали торговля и ремесла. Города тоже преобразились: «на Лондонском мосту становилось тесно от подвод с тюками сукна, изделиями всевозможных мастерских, огромными бочками эля. Набережные Темзы обрастали причалами. Лондон застраивался лавками, полными заморских товаров, и особняками новоявленных богачей» [70, с. 7]. Города в Англии XVIII в. буквально кишели уголовниками. Законы, принимаемые в парламенте, карали смертью лишь бедняков за бродяжничество, за мелкие кражи: повешенные в сквере на дереве не были большой редкостью. Создавались работные дома, где нещадно эксплуатировался детский и женский труд, а условия проживания создавались хуже тюремных (ведь те нищие, кто попадал в работные дома, согласно официальной идеологии были законченными бездельниками и лодырями, не умеющими и не желающими зарабатывать себе на жизнь честным трудом). Крупные злоумышленники легко уходили от петли при помощи взяток, так как все подчинялось нормам купли-продажи. Методы управления страной были под стать этим нормам: сам глава парламента Роберт Уолпол, находившийся на своем посту более двадцати лет, брал взятки «у тех, кто зависел от него, и давал тем, от кого сам зависел. Деньги, полученные от тех, кому он был нужен, клал в собственный карман. С людьми, которые были ему нужны, расплачивался из государственного кармана» [70, с. 7-8]. Естественным следствием такого положения в обществе были апокалиптические настроения – в печати получили распространение рассказы о близости «конца света», о необходимости готовиться к глобальным катастрофам. Апатия, отчаяние и безысходность проявлялись в виде самоубийств или извращенной агрессии (кстати, именно в те времена знаменитый французский маркиз де Сад публиковал свои романы, благодаря которым понятие «садизм» вошло в нашу речь – и эти романы тогда были невероятно популярны, несмотря на многочисленные запреты цензуры).

Процесс меркантильного разложения патриархальных порядков, затронувший и другие европейские страны, и там сопровождался негативными поступками людей, вспышками насилия, распространением безнравственности. В Германии,

например, обман и продажность вошли в повседневную жизнь: «в верхах немецкого общества царили коварство и цинизм; должности продавались; взятки в канцеляриях и судах стали обычным явлением. Впервые были введены в употребление крепкие напитки с низкой стоимостью производства, как бы специально предназначенные для спаивания народа <...>. Пьянство в Германии приобрело характер национального бедствия» [72, с. 124].

Новые экономические и социальные преобразования сопровождались упадком нравов повсюду, где на смену феодальным пришли капиталистические отношения. Сопротивление тому, что противоречило привычному укладу, было вполне закономерным, но даже самым интенсивным насилием невозможно было «выкорчевать» устоявшуюся систему мировоззренческих ценностей общества: «многомерный общественный организм» не хотел преобразовываться даже на протяжении жизни двух-трех поколений (все же это «исторически мгновенно»: у Истории свой счет годам!). Практический опыт показывал, что для снижения негативного влияния кардинальных социально-экономических перемен на общественное сознание необходим «временный относительный синкретизм (смешение – А.Л.)» старого и нового, чтобы психика огромного числа людей успела адаптироваться к переменам и не привела к «сбою», переступающему за грань рациональной управляемости [72, с. 124]. Именно такое спасительное затягивание преобразовательного процесса помогало выжить западноевропейским государствам: кризис социальных противоречий был смягчен за счет ползучего характера капитализации в этих странах (процесс начался не одновременно по всей Европе и экспроприации подверглись не все сразу владельцы земельной собственности), а также благодаря переключению капиталистов, жаждавших наживы, на эксплуатацию и ограбление колоний.

Что касается России, то все данные об этой стране свидетельствовали об одном: в этой империи власти были намерены не замедлять, а форсировать капитализацию за счет создания «ненормальных экономических условий» для общины ради удовлетворения неумеренных appetитов «русских поклонников капиталистической системы» [36, с. 401]. «За счет крестьян государство выпестовало те отрасли западной капиталистической системы, которые, нисколько не развивая производительных возможностей сельского хозяйства, особенно способствуют более легкому и быстрому расхищению его плодов непроизводительными

посредниками. Оно способствовало, таким образом, обогащению нового капиталистического паразита, который высасывал из без того оскудевшую кровь из “сельской общины”... Словом, государство оказало свое содействие ускоренному развитию технических и экономических средств, наиболее способных облегчить и ускорить эксплуатацию земледельца, т.е. наиболее мощной производительной силы России, и обогатить “новые столпы общества”. <...> Это стечение разрушительных влияний, если только оно не будет разбито мощным противодействием, должно естественно привести к гибели сельской общины» [36, с. 409]. И тогда все роковые злоключения капиталистической системы выпадут в этой стране на долю не тысяч людей, а десятков миллионов, потому что к крестьянскому сословию, которое русские власти затеяли экспроприировать, относилось более 85% населения. Опасность разрушительных последствий по сравнению с западными странами многократно увеличивается, и эту державу может ожидать лишь катастрофа невиданных масштабов. Когда сторонники нового социально-политического порядка объявляли, что хотят осчастливить свой народ, который не понимает ни своей выгоды, ни того, что искоренить устаревшие «азиатские формы» экономики и «сократить агонию» «дряхлой» общины является «добрым делом», как будто речь идет «просто-напросто о враге, которого надо сокрушить» [36, с. 410], то на самом деле, по мнению Маркса, «русское правительство и новые “столпы общества”, те, в чьих руках политические и социальные силы, делают все возможное, чтобы подготовить массы к такой катастрофе» [36, с. 410], как кровавая революция, наподобие бессмысленного и беспощадного бунта, сокрушающего все и всех на своем пути. Недаром же Карл Маркс при чтении «Исторических монографий и исследований» Н.И. Костомарова особое внимание уделил восстанию Степана Разина, составив комментированные выписки об этом событии русской истории [14, с. 612].

### **Поучительная судьба древнеримских плебеев**

Российские сторонники перемен «а ля Европа» в своих проектах, кроме всего прочего, упустили из виду тот факт, что не всякая экспроприация крестьян приведет к торжеству капиталистического строя. Маркс напоминал о судьбе плебеев Древнего Рима: в ходе развития (точнее говоря, упадка) Римской Империи одни крестьяне лишились всего, «кроме своей рабочей

силы», а другие стали владельцами «всех приобретенных богатств». Но «римские пролетарии стали не наемными рабочими, а праздною чернью <...>, развился не капиталистический, а рабовладельческий способ производства» [38, с. 120, 121]. Как и почему это произошло, позднее проанализировал ученик Маркса Карл Каутский в своем исследовании «Происхождение христианства». Ученый-историк писал, что начало античного экономического процесса действительно поражало своим внешним сходством с периодом возникновения современного европейского капитализма: и в том, и в другом случае основой перемен является экспроприация – ограбление большинства меньшинством. Но далее похожесть исчезает, потому что «современного капиталиста характеризует страсть к накоплению капитала», а «знатного римлянина времен Империи <...> отличает страсть к наслаждениям» [25, с. 74]. Причины этих кардинальных различий следует искать в том, как распоряжались своими богатствами собственники двух эпох. Современный капиталист вынужден вкладывать накопленные средства в улучшение и расширение производства, «если он не хочет быть побежден на поле конкуренции» [25, с. 73], где все решает более высокая производительность предприятий, их техническая оснащенность. Античному богачу эти заботы были ни к чему: он увеличивал не производительность своего хозяйства, а его площадь – за счет разорения мелких собственников. Кроме того, он обогащался ростовщичеством и захватническими войнами – лучшими средствами наживы и увеличения числа рабов, т.е. его доход рос «путем факторов, не увеличивавших производительность труда» [25, с. 72], – «чем больше латифундии вытесняли крестьян, чем больше сосредоточивалось земли и рабов во владении отдельных лиц, тем больше возрастали избытки и сокровища, находившиеся в их распоряжении» [25, с. 74]. Античное крупное производство имело сходство с современным капиталистическим только в одном – в «ненасытном и постоянном стремлении расширить свою область эксплуатации» [25, с. 73], а вот в способе, каким римский рабовладелец применял «к делу избыток, доставляемый растущими армиями рабов» [25, с. 73], – ничего схожего с капиталистическим не было: замена изношенных орудий труда, покупка скота и дополнительного числа рабов – вот и все расходы на содержание хозяйства античного богача, а остальные средства могли быть употреблены рабовладельцами на свои личные

удовольствия. «Чем больше увеличивались избытки <...>, тем больше преимущественной социальной функцией господствующих классов становилось расточение этих избытков, тем больше разгоралось желание превзойти друг друга роскошью, блеском, праздностью» [25, с. 77]. Фактором, раздражавшим богатых римлян, был, пожалуй, только рост непроизводительных элементов в обществе из-за замены свободного труда рабским [25, с. 75]: дешевизна рабочей силы в результате эксплуатации рабов парализовала побуждения к труду у разоренного крестьянина [25, с. 72], и в Империи появились сотни тысяч обнищавших, ничем не занятых граждан, не имеющих крыши над головой и ведущих необеспеченное существование в расчете на подачки представителей господствующего класса, так называемых оптиматов. Бывшие крестьяне, арендаторы, ремесленники и вольноотпущенные рабы – все они с тоской предавались воспоминаниям о добрых старых временах и чувствовали себя лишними людьми в обществе [25, с. 79, 80, 81]. Так создавался целый общественный слой, который «вообще не работал, да и не хотел работать. Он требовал участия в наслаждениях богачей, он добивался другого распределения не средств производства, а средств наслаждения, грабежа богатых, а не изменения способа производства» [25, с. 80]. Такое общество в своем развитии не могло не зайти в тупик и в конце концов становилось лакомой добычей других народов. Больше всех при этом теряли те, кто больше имел.

### **Капитализация России – путь к регрессу?**

По мнению Маркса, поучительная судьба плебеев Древнего Рима должна предостеречь тех, кто поверхностно отнесся к фундаментальным аналитическим положениям «Капитала»: сопоставление результатов современной земельной экспроприации с итогами того же процесса в античные времена призвано наглядно убедить в том, что одинаковые результаты можно ожидать от внешне аналогичных явлений только при тождестве их сущностных характеристик. Отступление русских политиков от этого принципа фактически представляло собой либо «мощный заговор» [36, с. 410] против собственного народа, жившего общинным порядком, либо полное непонимание самой сути превращения феодального производства в производство капиталистическое. Маркс еще и еще раз терпеливо убеждал русских в том, что в России «западный прецедент <...> ничего не доказывает» [36, с. 413], так как главным

объектом экспроприации при смене феодального строя на капиталистический является земля как средство производства, а отправным пунктом капитализации служит превращение одной – «*частной и раздробленной* – собственности работников» в другую – «*частную и концентрированную* – собственность капиталистов» [36, с. 412], т.е. толчком для развития капиталистических отношений в европейских государствах послужила трансформация одного вида частной собственности в другой вид частной собственности. И это не придумано теорией Маркса, а явилось жизненной практикой стран Западной Европы задолго до появления «Капитала». Маркс, анализируя реально произошедшие процессы, в своем научном исследовании специально оговорил существование ограничительных рамок распространения этих процессов. Ученый «точно ограничил» их «странами Западной Европы» [36, с. 411] не по своему желанию, а потому, что искусственное внедрение европейского опыта в практику стран любого *незападного* хозяйственно-культурного типа путем автоматического копирования не может дать результат, аналогичный европейскому, в силу несходства исторической обстановки. Маркс считал, что в России трансформация собственности по-европейски невозможна из-за отсутствия в этой стране наипервейшего и наиглавнейшего условия зарождения капитализма: здесь только на бумаге существовало то, что эта империя после 1861 г. стала страной мелкого крестьянского хозяйства. На самом деле сельское население России земель не владело. И тем не менее в России вознамерились «установить у себя капиталистическое производство» [36, с. 411], начало которому – по «Капиталу» – должна положить экспроприация земельной собственности широких народных масс. В связи с этим Маркс риторически вопрошал: «Как можно это применять в России, где земля не является и никогда не была “частной собственностью” земледельца?» [36, с. 411]. Россия – это «единственная страна в Европе, в которой общинное землевладение сохранилось в широком национальном масштабе» [36, с. 413], и здесь «поклонники капиталистической системы» [36, с. 401] должны отдавать себе отчет в том, что капитализация страны будет достигаться не сменой видов частной собственности, а уничтожением общинной, коллективной собственности.

Если брать во внимание этот факт, то российским политикам необходимо объективно осмыслить следующий феномен капиталистического Запада: «с одной стороны, оно (капиталистическое производство – А.Л.) чудесным образом развило общественные производительные силы, но, с другой стороны, оно оказалось несовместимым с теми самыми силами, которые оно порождает. Его история есть отныне лишь история антагонизмов,

кризисов, конфликтов, бедствий <...>. Народы, у которых оно наиболее развилось, как в Европе, так и в Америке, стремятся лишь к тому, чтобы разбить его оковы, заменив капиталистическое производство производством кооперативным и капиталистическую собственность – высшей формой архаического типа собственности, т.е. собственностью коммунистической» [36, с. 413]. Если российские политики настроены вести свою страну к тому, чтобы в ней «восторжествовало» капиталистическое производство, то прежде они обязаны все же признать, что на самом деле все их доводы в пользу именно такой политической линии – не что иное, как «речь <...> о замене капиталистической собственностью собственности коммунистической» [36, с. 412], а это путь не к прогрессу, а к регрессу. В представлениях русских политиков имеет место неосознанная подмена понятий из-за того, что капитализация действительно повлечет за собой качественные преобразования во всех сферах производства: усовершенствование и увеличение числа машин, рост производительности труда, расширение торговли – все это прогрессивные изменения. Однако недопустимо технический и технологический прогресс принимать за прогресс общественный! По мнению Маркса, чтобы община зажила новой жизнью и привела к расцвету всю страну, ей действительно потребуются все «положительные приобретения капиталистического строя», но в готовом виде, чтобы русской деревне не проходить «через долгий инкубационный период развития машинного производства» [36, с. 405]. Ради этого ей совсем не обязательно «подчиняться <...> *modus operandi*» (образу действий – А.Л.) Запада, нет надобности проходить «сквозь его кавдинские ущелья» (т.е. подвергаться крайним унижениям, оказаться под «ярмом» – А.Л.) и доводить себя до «самоубийства» [36, с. 406]. Если «русское общество, так долго жившее за счет сельской общины» [36, с. 414], хочет блага отечеству и народу, то задачу свою оно должно усматривать в оказании организационной, интеллектуальной и материальной поддержки наиболее мощной производительной силе страны, «чтобы поставить общину в нормальное положение на ее *нынешней* основе» [36, с. 415]. Чем раньше в русской деревне появятся машины, «для которых так благоприятна физическая конфигурация русской почвы» [36, с. 420], тем скорее там приоритетным станет кооперативный труд, организованный в широких масштабах, а сама эволюция технического и технологического перевооружения



произойдет примерно в такие же сроки и на таких же принципах, на каких удалось «новым столпам общества» в России «сразу ввести у себя весь механизм обмена (банки, акционерные общества и пр.), выработка которых потребовала на Западе целых веков» [36, с. 405].

### **Грабительская политика государства по отношению к крестьянской общине**

Русские политики, имевшие возможность воочию сопоставлять народный быт Европы и России, никак не хотели согласиться с тем, что в беспросветно нищей, невежественной, немытой, неухоженной, мрачно-покорной, «лапотной» и «дикой» русской деревне могло зародиться светлое будущее огромной страны, поэтому во всех выступлениях, статьях и научных трудах о земледельческой общине регулярно делался акцент на определениях «отсталая» и «архаическая». Для такого заблуждения были свои причины: во-первых, политики вообще не брали в расчет, что земледельческая община при определенных обстоятельствах способна функционировать не обязательно только в условиях феодализма; во-вторых, нищенское бытовое состояние общины они выдавали за ее социально-организационную и цивилизационную отсталость как показатель «дряхлости» этой формации. Карл Маркс считал, что преодолеть это заблуждение можно следующим образом: во-первых, понять, что веками существовавшая грабительская политика государства по отношению к общине не давала русскому мужику шансов на достойную жизнь; во-вторых, не бояться слова «архаическая» и не путать его с понятием «отсталость» и «дряхлость», поскольку русская земледельческая община, являясь архаической формацией, отличалась не только от древних, но и от иных новейших общественных формаций. Маркс об этом писал так:

«Оставляя в стороне все бедствия, угнетающие в настоящее время русскую сельскую общину, и принимая во внимание лишь форму ее строения и ее историческую среду, нужно признать, что с первого же взгляда очевидно, что одна из ее основных характерных черт – общая собственность на землю – образует естественную основу коллективного производства и присвоения. Помимо этого, привычка русского крестьянина к *артельным* отношениям облегчила бы ему переход от парцеллярного (мелкого единоличного – А.Л.) хозяйства к хозяйству коллективному, которое он в известной мере ведет уже на не подвергающихся разделу лугах, при осушительных работах и других предприятиях, представляющих общий интерес <...>. Прошло то время, когда русскому земледелию требовались лишь земля

и ее парцеллярный земледелец, вооруженный более или менее первобытными орудиями. Это время прошло с тем большей быстротой, что угнетение земледельца истощает его поле и делает последнее неплодородным. Ему нужен теперь кооперативный труд, организованный в широком масштабе. И притом, разве крестьянин, которому не хватает самых необходимых вещей для обработки его двух или трех десятин, окажется в лучшем положении, когда количество его десятин удесятится? Но оборудование, удобрение, агрономические методы и др. – все необходимые для коллективного труда средства – где их найти? Именно здесь-то и скажется крупное превосходство русской “сельской общины” над архаическими общинами того же типа» [36, с. 407].

Если исторические условия будут соответствовать развитию коллективного труда, то шансы у такой общины огромны: «будучи предварительно приведена в нормальное состояние в ее теперешней форме, она может непосредственно стать *отправным пунктом* той экономической системы, к которой стремится современное общество» [36, с. 420] и за которую оно ведет борьбу с эксплуататорами-капиталистами.

По Марксу, возрождение русского общества «может быть куплено только <...> ценой» сохранения «сельской общины» [36, с. 407]. Попытки «русских либералов» вывести Россию из тупика «при помощи капиталистической аренды на английский лад» Маркс считал тщетными: «эта система противна всем сельскохозяйственным условиям страны» [36, с. 407], да и вообще – «является ли их желание более основательным, чем *желание* Екатерины II насадить на русской почве западный цеховой строй средних веков?» [36, с. 412]. История России знала немало подобных экспериментов «а ля Европа» над крестьянским населением страны, и если обратиться к истокам грандиозных народных волнений, то все они возникали как раз по причине деспотического вмешательства в жизнь земледельческой общины с целью перекроить ее образ жизни по «более прогрессивному» западному фасону. Вот и теперь – после реформы 1861 г. – русскую общину повели, вопреки экономической целесообразности, к ее уничтожению, развивая капиталистическое производство за счет основной массы земледельческого населения, нещадно разоряя крестьян. То, что таким образом убивали «курицу, несущую золотые яйца» [36, с. 409], Марксу было ясно, как день: «Средние цифры за последние десять лет показывают не только застой, но даже падение сельскохозяйственного производства. <...> Впервые в России приходится ввозить хлеб, вместо того чтобы

вывозить его» [36, с. 409]. Иного и быть не могло при той общей политике царизма по отношению к крестьянству, в том числе и налоговой, которая приобрела характер хищного вымогательства. Данные Комиссии для пересмотра системы податей и Сельскохозяйственной комиссии, проанализированные Марксом, свидетельствуют о том, что в бюджет страны «бывшие помещичьи крепостные платили из своего дохода с сельского хозяйства 198,25%, так что им приходилось отдавать правительству не только свой доход с земли, но почти столько же отдавать из заработков, которые они получали за разные работы <...> другие» [35, с. 434]. В то же время помещики-землевладельцы налогов государству не платили вовсе. Мало того, они не погашали долги по ипотекам, которые к 1877 г. выросли до 366,5 млн рублей [35, с. 440] при доходной части российского бюджета в 548 млн рублей [35, с. 436]. К началу 1878 г. в России все долги казначейству доходили уже до 470 млн рублей; из них задолженность крестьян составляла всего 6,9% (т.е. лишь 32,5 млн) [35, с. 437]. Выплачивая все возложенные на них грабительские налоги, крестьяне массово разорялись. «Поклонники капиталистической системы» не уставали твердить, что в России бедствует тот, кто не хочет трудиться, что все проблемы у крестьян от их безынициативности и примитивной жизни, от элементарной тупости, от наплевательского и бездумного отношения земледельца к самому себе и собственной семье. Маркс как будто бы предвидел подобную трактовку пассивности народных масс, поэтому особо выделил в своих записях мысль о том, что состояние психологической фрустрации народа России явится на самом деле не следствием мужицкой тупости – тупой народ давно бы исчез с лица Земли из-за неспособности выжить в тех исторических и социально-экономических условиях, какие выпадали на долю русских людей в течение многих веков. Апатию российских землепашцев Маркс объяснял безнравственной политикой властей: «Попробуйте сверх определенной меры отбирать у крестьян продукт их сельскохозяйственного труда – и, несмотря на вашу жандармерию и вашу армию, вам не удастся приковать их к их полям» [36, с. 408].

Если обратиться, например, к реформе 1861 г., то ее результатом оказался жесткий прессинг для всего российского аграрного населения. Этот прессинг не мог не дать импульс центростремительным тенденциям в деревне, и чем дальше, тем очевиднее обнаруживало себя падение живучести сельской общины.

Но связывать это явление с внедрением индивидуалистических принципов, якобы выявивших «дряхлость» крестьянской коллективистической организации, неуместно, поскольку причиной было не простое разрушение общины в результате стохастического (непредсказуемого) влияния процессов капитализации аграрного сектора экономики империи: земледельческая община изначально была поставлена реформой в такие рамки, когда качественный стандарт жизни каждой крестьянской семьи внутри деревенского сообщества напрямую зависел не от ее трудового вклада в сельскохозяйственное производство, как это принято при капиталистических отношениях, а заранее предопределялся депривационным характером условий реформы, не учитывавшей объективного состояния большинства крестьянских хозяйств, которые еще до отмены крепостного права находились на грани разорения, а после 1861 г. неминуемо попадали в число обреченных на уничтожение. Отныне мерой выживания служил не производительный труд, а способность деревенской семьи вынести бремя податных платежей, ибо для безлошадного крестьянина в частые неурожайные голодные годы накопление недоимок оказывалось катастрофой. Поскольку в России более 30% деревенских подворий вообще не имели тяглового скота, а случаев массового голода на селе в XIX в. было зарегистрировано более 40 [79], то земская статистика ужасала количеством прямых потерь в пореформенной общине: крестьяне тысячами умирали голодной смертью; уходили на заработки, пополняя ряды многочисленных безработных; они христарадничали на дорогах и на паперти церквей; влачили жалкое существование или пускались во все тяжкие с горя и отчаяния – пили горькую, бродяжничали, грабили и разбойничали. Косвенные потери никем не анализировались, но пугали своей масштабностью и формами проявления: картины оскудения крестьянской жизни поражали воображение, а нравственная и физическая деградация тысяч и тысяч деревенских жителей страшила непредсказуемостью последствий.

От общественности нередко скрывались факты гибели крестьян по причине массового голода, сначала отрицаемого царской «администрацией, которая затем, когда голод становился фактом бесспорным, оказывалась решительно неспособной справиться с ним» [44, с. 275]. Даже тогда, когда вести из голодающих мест появлялись в прессе и получали подтверждение со всех сторон, правительство обычно «продолжало категорически

отрицать существование голода и толковало о “недороде”, не считая нужным принимать какие-либо экстренные меры и предоставляя это местной администрации, которая отрицала их необходимость. Само собой разумеется, что от этого положение вещей только ухудшалось» [44, с. 275]. Бездействовал и Красный Крест, который «был в руках разных высокопоставленных лиц; с его помощью делались карьеры, устраивались места для покровительствуемых паразитов, и он до такой степени не пользовался общественным доверием, что даже великий князь Николай Михайлович, желая пожертвовать в пользу голодающих 40 тысяч рублей, не пожелал вручить их Красному Кресту, а передал в полное распоряжение Вл.Ив. Вернадскому, как одному из представителей общественной инициативы» [44, с. 276] по организации помощи голодающим. Администрация с неодобрением воспринимала инициативу добровольных организаторов этой помощи как вмешательство в государственное управление, «как вторжение в ее прерогативы» [44, с. 276]. Даже точку зрения царя Николая II, высказанную в высочайшем рескрипте на имя П.Л. Барка, управляющего Министерства финансов, правительство оставило без внимания, хотя «хозяин земли русской» настаивал на том, что немощь и нищета в деревне, заброшенность хозяйств не обязательно являются следствием «нетрезвой жизни». Царь усматривал причину разорения сел в бесплодном изнурении крестьянских сил в результате «народного труда, лишенного в тяжелую минуту нужды денежной поддержки путем правильно поставленного и доступного кредита» [43, с. 473]. Царь писал своему высокопоставленному подданному: «Постоянно обдумывая и проверяя полученные Мною впечатления, Я пришел к твердому убеждению, что на мне лежит перед Богом и Россией обязанность безотлагательно ввести в заведывание государственными финансами коренные преобразования во благо Моего возлюбленного народа. Нельзя ставить в зависимость благосостояние казны от разорения духовных и хозяйственных сил множества Моих верноподданных» [44, с. 473].

Однако даже царь не был услышан. Мало того, когда общественность России обращала внимание правительства на то, что в селах европейской части империи рождаемость упала до 4,5%, а смертность возросла до 4%, и «естественный прирост населения в 1892 г. Достиг всего 600000 человек – около трети обычного числа» [43, с. 27], кабинет министров возмущенно парировал доводы оппозиции обвинениями в необъективности общественного мнения,

150000 верст телеграфных проводов, 45000 верст судоходных рек (с двумя тысячами речных пароходов) и 23000 верст шоссейных дорог» [43, с. 29] – все это было свидетельством положительных перемен. По мнению правительства, в деревне погибали лишь «лодыри и пьяницы», а кто хотел работать – тянулся в город: число рабочих, занятых в промышленности, строительстве и транспорте, «перевалило к 1894 г. за полтора миллиона» [43, с. 27]. Это составляло, как известно, всего 1% населения России, в то время как экономика страны по-прежнему держалась на 120-миллионном крестьянстве – главной производительной силе империи.

### **России требовалась революция менеджмента, а не революция передела собственности**

Задумав реформу 1861 г., царь, правительство и русская прозападная общественность после ее проведения просто не знали, что делать с огромной массой разоряющегося народа «община, раздавленная вымогательствами государства, ограбленная торговцами, эксплуатируемая помещиками, подрываемая изнутри ростовщиками» [36, с. 415], стала постоянным укором для всего общества, так долго жившего «на счет сельской общины» [36, с. 414] и пожелавшего найти без потерь для себя самое быстрое решение возникших проблем. Пример высокоразвитого Запада учил: нужно создать средний сельский класс «из более или менее состоятельного меньшинства крестьян» [36, с. 409], чтобы он взял на себя бремя налогов, а остальную массу бедных земледельцев «превратить просто в пролетариев» [36, с. 409], обеспечив новых и старых господ дешевой рабочей силой. Не революционеры-агитаторы, а именно «русское правительство и “новые столпы общества” делают все возможное, чтобы подготовить массы» к революции-катастрофе, в то время как России нужна совсем иная революция – не ради диктатуры пролетариата, не ради передела собственности, а как экстренный способ отстранения от власти тех правителей, которые бездарно руководят страной, «обескровливают и терзают общину» [36, с. 410], дабы русское общество, «как только правительственные путы будут сброшены» [36, с. 414], могло полноценно и целенаправленно использовать свой материальный и интеллектуальный потенциал для организации постепенного преобразования жизни крестьян, начав «с того, чтобы поставить общину в нормальное положение на ее нынешней основе» [36, с. 415], а основой ее была коллективная собственность.

Однако Маркса не послушали и повели Россию не к «революции менеджмента», а к революции-катастрофе: именно так и должно было случиться, поскольку безнравственная власть продолжила свою самоубийственную политику. Лишь позже – правда, уже постфактум, после революции-катастрофы, находясь в эмиграции, многие из числа «поклонников капиталистического строя» вынуждены были признать то, что разрушение русской общины, этого особого мироустройства, пагубно отразилось не только на судьбе страны, но и на их личной судьбе. Их выводы, похожие на запоздалое прозрение и покаяние, подводят черту под попытками грубо вмешаться в исторический процесс без понимания того, что «общество не делается и не учреждается людьми, а творится наподобие органических существ, произрастая из прошлого» [61, с. 21], что «государство не может по щучьему велению перестраиваться по любому трафарету, по любой теоретической схеме» [44, с. 213], что «революции <...> с безумной мечтой начать жить сначала <...> караются либо смертью общества, либо изобличением своего бессилия и своей лжи» [61, с. 21].

### **Искажение взглядов Маркса на судьбу России продолжается**

Однако в самой России анализ причин революций, гражданской войны и 70-летнего существования тоталитарного строя, мало похожего на социалистический, не включал в себя массовую экспроприацию крестьян в качестве главной причины катастрофы, постигшей страну. В период активной пропагандистской деятельности РСДРП Г.В. Плеханов в своих работах учил социал-демократов так отвечать на «неудобные» вопросы по марксистской теории: «Маркс и Энгельс нигде не изложили своих философских воззрений. Но <...> мы имеем достаточно литературных данных для составления себе правильного понятия о философских взглядах Маркса – Энгельса <...>, в материале недостатка нет – нужно только уметь пользоваться им, т.е. нужно быть подготовленным к его пониманию» [45, с. 126, 128]. После революций 1917 г. вполне уместной была ситуация, когда «несознательные элементы», обращаясь к большевику-пропагандисту, требовали ответа на «политически незрелые» вопросы: «Ваш учитель Маркс <...> основывал свое учение на начале закономерности социального развития. Оттого он и считает себя вправе называть свою теорию научным социализмом. Можно ли признать правоверным марксизмом тактику большевиков, которые хотят осуществить социализм в стране наиболее отсталой по капиталистическому развитию, не дозревшей

до экономической концентрации и притом страдающей не от перепроизводства, а от недостатка товаров? Как примирить с идеей социальной закономерности то, что в России будет социализм, в то время как Англия и Германия до него еще не доразвились?» [9, с. 240-241]. Однако на этот выпад «пропагандиста-контрреволюционера» всегда был готов ответ убежденного большевика-марксиста: «Маркс <...> не ограничивал своей теории территориально. Он рассматривал весь мир, как единый хозяйственный организм. И для момента, когда назреет переворот, он не предугадал, где именно начнется его осуществление» [9, с. 241]. Вывод из этих слов «несознательный элемент» делал тем не менее осознанно: большевиков, «видимо, не смущала явная несообразность, которую они такой интерпретацией приписывали своему учителю. Ведь марксистская закономерность получала при таком толковании совершенно непонятный характер; выходило, что в Лондоне будут предпосылки для социализма, а в России – социализм» [9, с. 241]. Позже, когда все «тлетворное влияние» удалось искоренить, в Советской России стали вдохновенно прославлять автора «Капитала»: «Величайшей заслугой Маркса является создание цельного и стройного революционного учения, могучего духовного оружия познания и преобразования мира, теоретической основы освободительной борьбы рабочего класса» [10, с. 388-389]. Что касается взгляда Маркса на будущее русской общины, то политическое руководство Советского государства рекомендовало своему народу понимать точку зрения немецкого ученого как «важный вывод о возможности некапиталистического пути развития отсталых народов при поддержке победившего пролетариата развитых стран» [10, с. 388].

Однако и теперь, когда произошла либерализация всех сторон общественной жизни, мнение Маркса о перспективах развития царской России по-прежнему считают «скорее утопической мечтой, чем научно обоснованным социальным прогнозом» [59, с. 264], и даже опыт катастрофических потрясений России в XX веке, изменивших и лик, и суть страны, не внес свои коррективы в этот вывод историков, социологов и политологов.



### **Вопросы для самоконтроля:**

1. Как Вы думаете, почему после проведения петровских реформ не получилось синтеза политических культур России и Запада?
2. Укажите причины, по которым после Отечественной войны 1812 года не произошло единения элиты с народом.
3. Дайте определение русской крестьянской общины. Является ли она особой формой социально-экономического сотрудничества внутри самодержавного государства, или это «отсталая» форма жизни «недоразвитого» и непросвещенного народа? Какими аргументами Вы подтвердите свою точку зрения?
4. Вследствие каких особенностей русской политической культуры восстание декабристов в 1825 г. было обречено на поражение? Ответ обосновать.
5. Почему «сшибку умов» западников и славянофилов называли столкновениями «пустого с порожним»? Делили ли эти столкновения русскую элиту в действительности на «патриотов-почвенников» и «космополитов-западников», или вся она была все же сторонницей европеизации России – только одна часть элиты стояла за постепенные, а другая за радикально-экстренные перемены?
6. На основании чего крепостное право было признано рабством – явлением постыдным для страны, желающей называться цивилизованной державой?
7. Какие положения реформы 1861 г. усугубили существование крестьян и еще радикальнее разделили население России на два противоборствующих лагеря?
8. Почему антимонархическая оппозиция не смогла договориться, каким политико-идеологическим силам царь должен уступить бразды правления в пореформенной России?
9. Для каких целей и какими силами создавалась тайная «Священная дружина»? Что привело к ее упразднению? Каковы были методы ее борьбы с антимонархической оппозицией?
10. Каковы истинные причины первоначального легального появления марксизма в России? Какую роль научному труду К. Маркса «Капитал» отводили в своих идеологиях различные общественно-политические силы страны?
11. На основании каких документов можно доказать то, что сам Маркс не считал возможным использовать теоретические положения «Капитала» в российской практике? По какой причине это мнение Маркса не получило огласки?
12. На основании каких данных возникло убеждение К. Маркса в необходимости для России некапиталистического пути развития? Какими аргументами ученый обосновал свою точку зрения?
13. Какие силы, по мнению Маркса, более всего были заинтересованы в разрушении русской крестьянской общины и какие меры требовалось срочно предпринять в стране, чтобы не допустить революции-катастрофы? Какая революция нужна была России?
14. Охарактеризуйте основные исторические, социально-политические, экономические и природно-климатические условия формирования и развития русской крестьянской общины. В чем заключается принципиальное отличие общины от западноевропейских форм сотрудничества?
15. Каким образом коммунистическая пропаганда советского периода «прятала» точку зрения Маркса на некапиталистический путь развития России?

### **Литература:**

1. Абросимова В. Судьба поэта / Полежаев А.И. Сочинения. – М.: Художественная литература, 1988. – С. 3-28.
2. Амбарцумов Е.А. Интеллигенция // Большая Советская энциклопедия. В 30-ти т. 3-е изд. – Т. 10. – М.: Сов. Энциклопедия, 1972. – С. 311.
3. Богданов А.А. Десятилетие отлучения от марксизма. Юбилейный сборник. 1904 – 1914 // Неизвестный Богданов. В 3-х кн. – Кн. 3. – М.: ИЦ «АИРО-XX», 1995. – С. 24-195.
4. Богданович А.В. Три последних самодержца. Дневник. – М.: Изд-во «Новости», 1990. – 608 с.
5. Бушков А. Красный монарх. Хроники великого и ужасного времени. – СПб.: Издательский Дом «Нева», 2004. – 640 с.
6. Валлерстайн И. Социальная наука и коммунистическая интерлюдия, или К объяснению истории современности // Политические исследования. – М., 1997. – №2 – С. 5-13.
7. Володин А.И., Жигунов Е.К. Лавров (Миртов) Петр Лаврович / Большая Советская энциклопедия. В 30-ти т. 3-е изд. – Т. 14. – М.: Сов. Энциклопедия, 1973. – С. 91-92.
8. Гессен И.В. В двух веках. Жизненный отчет // Архив русской революции. – Берлин, 1937. – Т. 22. – 424 с.
9. Гольденвейзер А.А. Из киевских воспоминаний // Архив русской революции. – Берлин, 1922. – Т. 6. – С. 161-303.
10. Гольман Л.И. Маркс Карл // Большая Советская энциклопедия. В 30-ти т. 3-е изд. – Т. 15. – М.: Сов. Энциклопедия, 1974. – С. 384-390.
11. Гуржий И.А. Кармелюк Устим Якимович // Большая Советская энциклопедия. В 30-ти т. 3-е изд. – Т. 11. – М.: Сов. Энциклопедия, 1973. – С. 442-443.
12. Доносить // Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4-х т. – Т. 1. – М.: АО Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1994. – Кол. 1164.
13. Смерть // Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4-х т. – Т. 4. – М.: АО Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1994 – Кол. 285
14. Даты жизни и деятельности К. Маркса и Ф. Энгельса // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. – Т. 19. – М.: Гос. изд-во политич. Литературы, 1961. – С. 597-626.
15. Дом Романовых. 2-е изд. – СПб.: ЛИО Редактор, 1992. – 280 с.
16. Европеец. Журнал И.В. Киреевского. 1832 – М.: Наука, 1989. – 536 с.
17. Елютин В.П. Университеты // Большая Советская энциклопедия. В 30-ти т. 3-е изд. – Т. 27. – М.: Сов. Энциклопедия, 1977. – С. 18-21.
18. Завадский С.В. На великом изломе // Архив русской революции. – Берлин, 1923. Т. 8. – С. 5-42.
19. Зайончковский П.А. Губернские комитеты // Большая Советская энциклопедия. В 30-ти т. 3-е изд. – Т. 7. – М.: Сов. Энциклопедия, 1972. – С. 429.
20. Зайончковский П.А. Редакционные комиссии // Большая Советская энциклопедия. В 30-ти т. 3-е изд. – Т. 21. – М.: Сов. Энциклопедия, 1975. – С. 571.
21. Изгоев А.С. Русское общество и революция. – М.: Русская мысль, 1910. – 275 с.
22. Изнар Н.Н. Записки инженера // Вопросы истории. – М., 2004. – №9. – С. 83-94.

23. Иовчук М.Т., Суворов К.И. Плеханов Георгий Валентинович // Большая Советская энциклопедия. В 30-ти т. 3-е изд. – Т. 20. – М.: Сов. Энциклопедия, 1975. – С. 30-32.
24. К делу В.И. Засулич // Историко-революционный сборник. – М.: [б.м.], 1924. – С. 321-340.
25. Каутский К. Происхождение христианства. – М.: Политиздат, 1990. – 463 с.
26. Кельсиев В.И. Исповедь // Архив русской революции. – Берлин, 1923. – Т. 11. – С. 169-310.
27. Керсновский А.А. История русской армии. В 4-х т. – Т. 1. – М.: Голос, 1992. – 304 с.
28. Керсновский А.А. История русской армии. В 4-х т. – Т. 2. – М.: Голос, 1993. – 336 с.
29. Керсновский А.А. История русской армии. В 4-х т. – Т. 3. – М.: Голос, 1993. – 352 с.
30. Крупнов Ю.В. Россия между Западом и Востоком. Курс Норд-Ост. – СПб.: Издательский Дом «Нева», 2004. – 384 с.
31. Кюстин Астольф де. Россия в 1839 году // Россия первой половины XIX века глазами иностранцев. – Л.: Лениздат, 1991. – С. 421 – 660.
32. Ленин В.И. Аграрный вопрос в России к концу XIX века // Ленин В.И. Полное собрание сочинений. 5-е изд. – Т. 17. – М.: Изд-во политич. литературы, 1968. – С. 57-137.
33. Ленин В.И. Несколько замечаний по поводу «ответа» Маслова // Ленин В.И. Полное собрание сочинений. 5-е изд. – Т. 17. – М.: Изд-во политич. литературы, 1968. – С. 256-270.
34. Ленин В.И. Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения // Ленин В.И. Полное собрание сочинений. 5-е изд. – Т. 6. – М.: Изд-во политич. литературы, 1979. – С. 1-192.
35. Маркс К. Заметки о реформе 1861 г. и пореформенном развитии России // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. – Т. 19. – М.: Гос. изд-во политич. литературы, 1961. – С. 422-444.
36. Маркс К. Наброски ответа на письмо В.И. Засулич // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. – Т. 19. – М.: Гос. изд-во политич. литературы, 1961. – С. 400-421.
37. Маркс К. Письмо В.И. Засулич // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. – Т. 19. – М.: Гос. изд-во политич. литературы, 1961. – С. 250-251.
38. Маркс К. Письмо в редакцию «Отечественных Записок» // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. – Т. 19. – М.: Гос. изд-во политич. литературы, 1961. – С. 116-121.
39. Маркс К. Письмо Ф. Зорге // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. – Т. 34. – М.: Гос. изд-во политич. литературы, 1965. – С. 380.
40. Маркс К., Энгельс Ф. Предисловие ко второму русскому изданию «Манифеста Коммунистической партии» // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. – Т. 19. – М.: Гос. изд-во политич. литературы, 1961. – С. 304-305.
41. Нечкина М.В. Движение декабристов. В 2-х т. – Т. 2. – М.: Изд-во АН СССР, 1955. – 420 с.
42. Новиков В. Спецслужбы против имперской канцелярии: миф или реальность? // Россия XXI. – М., 2000. – №3. – С. 122-159.
43. Ольденбург С.С. Царствование Императора Николая II. – М.: ТЕРРА, 1992. – 640 с.
44. Петрункевич И.И. Из записок общественного деятеля // Архив русской революции. – Берлин, 1934. – Т. 21. – 411 с.

45. Плеханов Г.В. Основные вопросы марксизма // Плеханов Г.В. Избранные философские произведения. В 5-ти т. – Т. 3. – М.: Гос. изд-во политич. литературы, 1957. – С. 124-196.
46. Полежаев А.И. Сочинения. – М.: Художественная литература, 1988. – 511 с.
47. Предисловие к кн.: Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. – Т. 19. – М.: Гос. изд-во политич. литературы, 1961. – С. V-XXVI.
48. Примечания к кн.: Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. – Т. 19. – М.: Гос. изд-во политич. литературы, 1961. – С. 549-596.
49. Родзянко М.В. Государственная Дума и февральская 1917 года революция // Архив русской революции. – Берлин, 1922. – Т. 6. – С. 5-80.
50. Русское общество 40-х – 50-х годов XIX в. Часть I. Записки А.И. Кошелева. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 237 с.
51. Русское общество 40-х – 50-х годов XIX в. Часть II. Воспоминания Б.Н. Чичерина. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 254 с.
52. Скалдин Н. (Еленев Ф.П.) В захолустье и в столице // Сборник материалов к изучению истории русской журналистики. Выпуск III. – М.: Изд-во Высшей партийной школы при ЦК КПСС, 1956. – С. 33-41.
53. Спиридович А.И. При царском режиме // Архив русской революции. – Берлин, 1924. – Т. 15. – С. 85-206.
54. Сталь Жермена де. 1812 год. Баронесса де Сталь в России // Россия глазами иностранцев. – Л.: Лениздат, 1991. – С. 19-64.
55. Струве П.Б. Против ортодоксальной нетерпимости: Pro domo sus // На разные темы. – СПб, 1902. 552 с.
56. Токвиль Алексис де. Демократия в Америке. – М.: Прогресс, 1992. – 554 с.
57. Толстой А.Н. День Петра // Толстой А.Н. Собрание сочинений. В 9-ти т. Т. 3. – М.: Изд-во художественной литературы, 1958. – С. 77-103.
58. Трехсотлетие Дома Романовых. 1613 – 1913 . – Репринтное воспроизведение юбилейного издания 1913 года. – М.: Современник, 1991. – 320 с.
59. Тютюкин С.В. Георгий Валентинович Плеханов // Россия на рубеже веков: исторические портреты. – М.: Политиздат, 1991. – С. 233-280.
60. Уткин А.И. Россия и Запад: история цивилизаций. – М.: Гардарики, 2000. – 574 с.
61. Франк С.Л. Религиозные основы общественности // Путь. – Париж, 1925. – №1. – С. 14-29.
62. Цимбаев Н.И. Московские споры либерального времени // Русское общество 40-х – 50-х годов XIX в. Часть I. Записки А.И. Кошелева. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – С. 5-42.
63. Чернышевский Н.Г. Избранные экономические произведения. В 3-х т. – Т. 2. – М.: Соцэкгиз, 1948. – 710 с.
64. Шелгунов Н.В. Государственное хозяйство // Сборник материалов к изучению истории русской журналистики. Выпуск III. – М.: Изд-во Высшей партийной школы при ЦК КПСС, 1956. – С. 84-85.
65. Эйдельман Н. «Революция сверху» в России // Наука и жизнь. – М., 1988. – №11. – С. 109-121.
66. Эйдельман Н. «Революция сверху» в России // Наука и жизнь. – М., 1988. – №12. – С. 102-112.
67. Эйдельман Н. «Революция сверху» в России // Наука и жизнь. – М., 1989. – №1. – С. 108-123.

68. Энгельгардт А.Н. Из деревни. 12 писем // Сборник материалов к изучению истории русской журналистики. Выпуск III. – М.: Изд-во Высшей партийной школы при ЦК КПСС, 1956. – С. 41-45.
69. «Юридический вестник» // Большая Советская энциклопедия. В 30-ти т. 3-е изд. – Т. 30. – М.: Сов. Энциклопедия, 1978. – С. 412.
70. Кагарлицкий Ю. Предисловие к кн.: Фильдинг Г. История Джонатана Уйальда – М.: Гос. изд-во художественной литературы, 1958. – С. 5-16.
71. Милов Л.В. Природно-климатический фактор и менталитет русского крестьянства // Общественные науки и современность. – М., 1995. – №1. – С. 76-87.
72. Новик И. Системность оптимального выбора // Общественные науки и современность. – М., 1995. – №1. – С. 118-126.
73. Священная Дружина. Отчетная записка за 1881 – 1882 гг. // <http://narovol.narod.ru/document/druzina.htm>
74. Программа ИК Народной Воли (в редакции Н. Морозова) // <http://narovol.narod.ru/document/progamIKmoroz.htm>
75. Чернышев Захар Григорьевич (декабрист) // Русский биографический словарь (сетевая версия) <http://www.rulex.ru/01240186.htm>
76. Токмаков И.Ф. Город Волоколамск Московской губернии и его уезд. Краткий историко-статистический и археологический очерк // Информационный портал ЛАМАГРАД [http://www.lamagrad.ru/tokmakov/lama\\_hist\\_tokmakov09.htm](http://www.lamagrad.ru/tokmakov/lama_hist_tokmakov09.htm)
77. Князьков С. Очерки из истории Петра Великого и его времени. – СПб.: Издание книжного магазина П.В. Луковникова, 1914. 648 с., портр.
78. Цымбурский В.Л. Европа – Россия: «третья осень» системы цивилизаций // Полис – М., 1997 – №2. С. 56-76.
79. Мстиславский П.С. Голод // Большая Советская энциклопедия. В 30-ти т. 3-е изд. – Т. 7. – М.: Сов. Энциклопедия, 1972. – С. 32.
80. Русская классика и Октябрьская революция (заочный «круглый стол» «Знамени») // Знамя – М., 1992 – №7. С. 220-233.

Антон Виленович Луценко  
**Развитие политической мысли в России XVIII - XIX вв.**  
Учебное пособие

Автор предисловия  
доктор исторических наук, профессор  
А.Н. Жеравина

Рецензенты:  
доктор исторических наук, профессор  
А.Н. Жеравина,  
кандидат исторических наук  
Е.В. Нам

Научный редактор  
Технический редактор

О.И. Кирсанов  
Г.Н. Ларкина

Компьютерное макетирование  
и набор текста

А.В. Луценко

Формат 60х84/16.  
Усл. печ. л. 9,15.

Оформление и конвертация в PDF Scribus 1.3.3.1.  
Уч.-изд. л. 8,28.

Изд. СТИ НИЯУ «МИФИ». Лиц. ИД № 00407 от 02.11.99 г.  
636070, Томская обл. г. Северск, пр. Коммунистический, 65.

Отпечатано с оригинала-макета в изд. СТИ НИЯУ «МИФИ»



